

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



ЭД.и Ж. ГОНКУР

ТОМ ШЕСТОЙ

ОБРАТЯ
ЗЕМГАННО



ПЕТЕРБУРГ
МСМХІХ



т. 6 (9)

А
и

В С Е М И Р Н А Я Л И Т Е Р А Т У Р А

9. Ф Р А Н Ц И Я

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

ЭД. и Ж. ГОНКУР

ED. et J. de GONCOURT

1822 — 1896 и 1830 — 1870

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
А. Я. ЛЕВИНСОНА



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
при Народном Комиссариате по Просвещению

РА

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЭД. и Ж. ГОНКУР

ТОМ ШЕСТОЙ

Б Р А Т Ь Я
ЗЕМГАННО

П Е Р Е В О Д
З. ЖУРАВСКОЙ
С ПОСЛЕСЛОВИЕМ
А. Я. ЛЕВИНСОНА



ПЕТЕРБУРГ МСМХІХ.

45

27
459

ms 20/8-42

БРАТЯ ЗЕМГАННО
LES FRÈRES ZEMGANNO

Р О М А Н .

1879

Глава I.

Среди чистого поля, у подножья шлагбаума, поставленного на перекрестке, скрещивались четыре дороги. Первая из них, проходившая мимо замка в стиле Людовика XIII, где только что в первый раз позвонили к обеду, поднималась широкими петлями на самую вершину крутой горы. Вторая, окаймленная кустами орешника, переходила через двадцать шагов в скверный проселок и терялась меж холмов, склоны которых были усажены виноградниками, вершины же лежали под паром. Четвертая тянулась мимо каменоломен, заваленных железными ситами для сортировки песку и тачками со сломанными колесами. Эта последняя, к которой примыкали три остальные, вела через мост, гудевший под колесами экипажей, к маленькому городку, раскинувшегося амфитеатром на скалах и отгороженному от остального мира большою рекой, один из извивов которой, протекавший меж плантаций, омывал оконечность дуга, смежного с перекрестком.

Все еще солнечную лазурь прорезал лет быстро пронесившихся птиц, острый и тонкий писк которых словно желал доброго вечера. Вечерний холодок уже спускался в тени деревьев, и дорожные колеи окрашивались в фиолетовые тона. Лишь изредка доносился жалобный скрип телеги. Великое безмолвие поднималось с полей, опустевших и покинутых до следующего дня человеческой жизнью. Даже река словно утратила свою текучесть и, будто отдыхая, несмешно катила свои воды; легкая рябь замечалась только около ветки, спустившейся к самой воде.

В этот-то час, на извилистой дороге, сбегавшей с горы, показалась, громохкая, как старая расхлябанная машина,

странная фура, которую везла старая белая лошадь с очевидным запалом. То был огромный фургон с широкой оранжевой полосой на своей заржавленной цинковой крыше и чем-то вроде портика спереди, в котором росток плюща, посаженный в дырявый горшок, тянулся к целому навесу странствующей зелени, трясемуся при каждом толчке. Следом за этой фурой, на близком расстоянии от нее, ехала диковинная зеленая двуколка, верхняя крытая часть которой расширялась и выступала над двумя большими колесами, как емкие бока пароходов, в которых рядами, одна над другой, помещаются койки для пассажиров.

На перекрестке из первой фуры опрометью выскочил маленький старичок, с длинными седыми волосами, и принялся дрожащими руками распрягать лошадь; тотчас же под портиком, оббитым плющем, показалась молодая женщина. На плечи она накинула длинный клетчатый платок, но бедра и ноги ее, обтянутые только трико, казались голыми. Руки ее, скрещенные на груди, понемногу, зябкими движениями, поднялись до самых плеч, запахивая плотней платок у шеи; корпус опирался на одну ногу, между тем как другая отбивала привычный такт марша. Так она стояла некоторое время, обратив назад голову и перегнув ее через плечо красивым движением голубки; веки ее были пронизаны светом, а профиль терялся в тени; она говорила нежные, любовные слова кому-то, еще скрытому внутри фургона.

Старик распряг лошадь, снял оглобли и любовной заботливостью приставил к фургону небольшую лесенку, по которой сошла женщина, перед тем приняв на руки ребенка, прекрасного мальчика в коротенькой рубашонке, более крупного и сильного, чем обыкновенно бывают грудные младенцы. Тем не менее женщина, раздвинув шаль, стала кормить его грудью, на ходу. Мелкими шажками, неторопливо переставляя свои розовые ноги, она шла к реке, и с ней другая женщина, время от времени нагибавшаяся, чтобы поцеловать розовое тельце малютки, или сорвать травку «собачий зуб», из которой можно приготовить чудесный салат.

Из второй тележки тем временем вышли люди и жи-

вотный. В первую голову, пудель облезлый и слезливый, который, от радости, что он, наконец, очутился на земле, принялся, было, яростно охотиться за собственным хвостом. Затем, куры, которые, весело хлопая крыльями, тотчас же уселись на фургон, как на насест. За ними юноша, у которого матросская куртка была надета прямо на тело, без рубашки; этот пошел прямо, куда глаза глядят, и тотчас же скрылся с глаз. Вслед за ним вышел колосс, у которого шея была одинаковой толщины с головой, а на месте лба рос словно шерстяной кустарник. И еще какое-то жалкое создание, одетое в самый убогий сюртук, какой когда-либо носило человеческое существо; оно втягивало в нос остатки табаку из бумажного фунтика. Наконец, когда уже можно было думать, что зеленая тележка совсем опустела, из нее вылез еще один потешный субъект, не успевший или поленившийся, как следует, стереть с лица грим, вследствие чего рот его казался прорезанным до самых ушей. Зевая этим огромным ртом, он с наслаждением потягивался, расправляя члены... Потом, увидав речку, скрылся в глубине тележки и снова показался с двумя накиннутыми на голову сачками для ловли раков.

Эта смехотворная фигура, одетая в балахон цвета птичьего помета с черными разводами и с вырезанными внизу зубцами, то бежала, то катилась колесом на руках и ногах, и добралась, наконец, до реки. На берегу, склонившись к самой воде, росла старая ива, от которой остался один только пенёк, гладкий и с прожилками, точно мраморный, с черной землею и зеленым мохом в дупле; но верхушка у пня была еще жива и покрылась молодыми ростками, сплошь опутанными вьюнками. Под ивой, крестьяне, удивившие рыбу на этом месте, вытоптали в траве как будто лесенку. Паяц скользнул туда на животе, свесившись головою вниз над водою, такой глубокой, что глинистый берег и рыжие корни ивы расплывались в синеватой глубине; отраженный в ней смешной его образ спугнул целую стаю рыбок, рассыпавшихся в разные стороны, словно темные стрелы, несомые блестящими плавниками.

Мать, кормя грудью ребенка, смотрела на реку, над

которой уже ложились удлиненные тени; на солнце, спускавшееся к горизонту, зажигая искрящийся смерч в том месте, где оно отражалось в воде; на мелкие волны, преломлявшие и лазурь небосвода, и пурпур заката; останавливала глубокий и пристальный взор на пауках с длинными лапами, быстро и неустанно скользивших по зеркальной поверхности, по временам, по звериному раздувая ноздри и вдыхая запах мяты, донесенный ветерком, поднявшимся на закате с берега.

— Эй ты, Битая, пора за стряпню!

То раздался бас Геркулеса, который, усевшись на какой-то ящик посреди луга и всунув ноги в «геройские» башмаки с меховой опушкой, чистил картофель, с необычайной нежностью и бережностью в каждом движении.

Битая направилась обратно к фургону, а за нею и мать с ребенком; но последняя принимала лишь безмолвное участие в приготовлениях к ужину, сама ни до чего не дотрагиваясь и отдавая приказания жестами, словно в пантомиме.

Тем временем, седоволосый старик, привязавший обоех лошадей к перекладине шлагбаума, напялил на себя ярко-алую гусарскую куртку, с серебряными шнурами и выпушками, и, захватив лейку, зашагал по направлению к городу.

Голубое небо совсем побледнело, стало почти бесцветным; лишь на западе еще сохранились желтые тона, и на востоке—алые, да несколько продолговатых темно-коричневых облачков прорезывали зенит, словно бронзовыми клинками. И с этого изнемогающего неба незаметно спускалась серая фата, которая еще на ущербе дня вносит уже что-то неверное в видимость предметов, делает их обманчивыми и смутными, сглаживает формы и контуры; и природа постепенно засыпает, как бы стертая надвигающимися сумерками: этой печальной и нежной и неошутимой агонией света. Только в маленьком городке, с бледными домами, отблеск дня горел еще на стекле фонаря, поставленного у въезда на мост; но громада церкви с узкими стрельчатыми окнами выделялась уже сумеречно лиловой массой на

тускло-серебряном фоне заката. Поля уже казались лишь туманным пространством. Река, вначале ярко-зеленая, стала серой, как шифер, и теперь давала знать о себе лишь бесцветным ропотом, на который тени деревьев ложились большими расплывами китайской туши.

Тем временем женщины хлопотали об ужине. На лугу, у самой реки, поставили печурку, на которой что-то жарилось вместе с картофелем, очищенным Геркулесом. Раза три или четыре паяц бросал в котелок раков, которые с влажным треском ударялись о медь.

Старик в гусарской куртке вернулся и принес полную лейку вина. Битая поставила щербатые тарелки на ковер, на котором во время представлений упражнялись акробаты, а вокруг лениво разлеглись все мужчины трупшы, вытаскивая из карманов ножи.

Мертвый день уже проникался ночью. В одном из домиков в конце главной улицы города зажегся огонек.

Внезапно, из соседней заросли, вынырнул юноша. полуголый, неся какое-то завернутое в его матросскую куртку отчаянно барахтавшееся животное. При виде зверька, проблеск радости, почти жестокой, озарил лицо молодой женщины в трико, которая вдруг как будто что-то вспомнила и унеслась мыслью в прошлое.

— Земли дайте! — хлопнув в ладоши приказала она, низким гортанным контральто, в котором звучали странные, волнующие ноты.

И осторожно, с кошачьей ловкостью, ни разу не уколовшись, она покрыла живого ежа слоем глины и скатала ее в шар, между тем как старик соорудил из сухого хворосту и сучьев пылающий огромный костер.

Трупша принялась за ужин. Лейка шла в круговую, и мужчины пили из нее по очереди. Битая ела, стоя, не сводя глаз с очага, порой выхватывая пальцами кусок из блюда, которое она передавала. Женщина в трико положила на уголок ковра, рядом с собой, свое дитя и не спускала с него глаз, которые как будто впились в любимое тельце. Ели молча, как едят люди проголодавшиеся, усталые, под деревьями, на берегу

реки, отвлекаемые зрелищами летней ночи: летом ночных птиц, всплесками рыбы, зажегшейся в небе звездой.

— Пусти! Мое место!—буркнул паяц, грубо отталкивая человека в изорванном сюртуке, тромбониста, изображавшего оркестр трупны. И с жадностью накинулся на еду. А в погасшем небе вдруг раздался звон, словно от далекого хрустального колокола, протяжный, наподнивший пространство нежными волнами звуков, небесно грустной музыкой, так тесно слившейся с вечерним воздухом, что, и умолкнув, она как будто еще продолжала звучать.

Глина, в которой жарился еж, превратилась в плотную оболочку. Геркулес ударил по ней топором, и она разлетелась в куски; кожа испекшегося ежа, вместе с иглами, отделилась от мяса, и лакомое кушанье было роздано всем.

Женщина в трико взяла себе небольшой кусочек и обсасывала его медлительно, как настоящая лакомка, видимо наслаждаясь.

Ребенок, лежа рядом с матерью, все время ноженьками и ручками отталкивал от себя прочь тарелки, и, наконец, завладев нераздельно ковром, уснул посередине его, голеньким животиком кверху.

Все отдыхали, наслаждаясь дивным вечером, в тишину которого врывались то пронзительная песнь цикад, то трепетный шелест листья в вершинах высоких тополей; всех обьяла во тьме сонная дрема и словно чье-то теплое дыхание, лаская и щекоча, порою касалось лиц.

А порой, из чащи гигантской крапивы, листья которой в эти часы казались сделанными из черной бумаги, где протекал унылый ручей, темной массой взвивалась в воздухе птица, заставляя вздрагивать пугливых женщин, и в этом мимолетном испуге была своя прелесть.

Внезапно, луна, выплывшая из-за деревьев, осветила спящего ребенка, и как будто белый свет ее ласкал и щекогал это обнаженное детское тело, оно задвигалось лениво и грациозно. Сонное личико улыбалось чему-то невидимому; растопыренные пальчики что-то невинно нащупывали в пустоте. Постепенно ребенок просыпался.

движения его становились быстрее, и в движениях этих сказывалась необычайная упругость и эластичность, словно все косточки были в нем гибкими. Рученькой он захватил свою розовую ножку и поднес ее ко рту, словно хотел пососать.

Поистине, то была очаровательная картина, достойная поэта: эта маленькая головка со множеством выпуклостей, покрытая завитками светлых волос; эти прозрачные глазки в глубоких и мягких орбитах, и крохотный приплюснутый носик, словно придавленный грудью кормилицы, и ротик с капризно-надутыми губками, и полные щеки, и нежно округленный животик, и толстенные, пухлые ножки и ручки, с крохотными, словно ниточкой перетянутыми, кистями и стопками; и все эти складочки на шейке сзади, и ямочки на щеках и на локотках—все это молочное белое детское тело, озаренное и бледно прозрачное в опаловом свете луны.

Между тем, как очарованная мать любовалась своим сокровищем, юноша в матросской куртке, став на одно колено, ловил на палочку шар, стараясь удерживать его в равновесии, терпеливо повторяя это по несколько раз и улыбаясь братишке.

И все они на лоне природы, среди ночного безмолвия, непроизвольно обратились к трудам дня, к надобностям ремесла, которое и завтра должно было накормить их.

Тем временем, в фургоне, старик, не снимая своей венгерки, при свете свечи рылся в каких-то старых бумагах.

Поодаль, в уголке, еще слегка освещенном луной, Битая и тромбонист, которому предстояло завтра участвовать в комической интермедии, репетировали сцену пощечин, причем женщина учила простака самому производить нужный звук, вместо того, чтоб взаправду получать оплеухи.

Что до паяца, он опять пошел ловить раков.

И, усевшись под ивой, всею развесившей над ним свою редкую серую листву, словно огромную пыльную

паутину, он дремал, как некое фантастическое видение, спустив ноги в воду, склоняясь над зеленоватой глубиью, на самом дне которой дремал ответ звезды.

Глава II.

Директор труппы, старик в гусарской куртке, синьор Томмазо Бескапе, рыжий итальянец, почти совсем поседевший, своими зоркими пронизательными глазками, похожим на губку носом, насмешливым ртом и бритым подбородком, ни минуты не остававшимися в спокойном состоянии, но все время вздрагивавшими и подергиваемыми словно тиком, длинными волосами цвета пронизанной солнцем пыли, являл каждому, кто смотрел на него, облик истинного лицедея.

В своем отечестве Томмазо Бескапе побывал последовательно немного поваром, немного певцом, немного экспертом по выбору кораллов и лапис-лазури, немного бухгалтером у торговли четками на Виа-Кондотти, немного чичероне, немного чиновником при посольстве, когда рискованные случайности его бурной доли забросили его на Восток, где Бескапе, говоривший на всех языках и диалектах, в несколько дней сделался драгоманом, переводчиком для иностранцев, совершавших экскурсии по Палестине; а затем, перепробовав еще многое множество никому неведомых и самых причудливых профессий,—стал торговать драгоценными породами деревьев в Малой Азии. На редкость счастливой природой обладал этот итальянец, неистощимый в изобретении источников существования, молодец на все руки, все и всякого умеющий починить, поправить, поставить на рельсы, чувствующий себя, как рыба в воде, среди превратностей и превращений жизни, похожей на смену декораций в театре, а в антрактах зубоскаливший над своею нуждой с той неугасимой веселостью, что смеется в писаниях рассказчиков XVI века, и в самых отчаянных положениях никогда не терявший веры американца в завтрашний день; в довершение всего—большой знаток и любитель природы, с увле-

чением созерцавший те даровые зрелища, которыми она развлекает людей, странствующих пешком по всем пяти частям света. Побродив несколько лет по окрестностям древней Трои, лениво разыскивая наросты на малоазийском орешнике, которые так ценятся в Англии и из которых там делают фанерку для мебели—Бескапе в один прекрасный день очутился контролером билетов Чиржо Олимпико в Переи, по мере потребности в том, совмещавшим функции счетовода с более скромными обязанностями конюха.

И вот, здесь-то, пока он пробивался на скудную плату, у сметливого итальянца родилась мысль о новом способе добывания денег, в то время вовсе еще не использованном. За один меджидие он вытащил из-под турка, курившего свою трубку у двери кафе, ковер, на котором он восседал, и, несколько дней спустя, выгодно перепродал этот коврики туристу. Торговля его пошла успешно, явилась уверенность в себе, споровка, знание дела, и скоро Бескапе скупал на базарах уж целые груды ковров, даже не разворачивая их: при его быстро нажитом опыте и убеждении в лености оттоманских купцов, ему достаточно было взглянуть на изнанку. Вскоре, помимо небольшого склада, открытого им у себя, у Бескапе завелись деловые связи в Лондоне и Париже, где некоторые художники уже начинали скупать эти неподражаемые изделия восточных народов, прирожденных колористов, — ковры, в ткани которых, среди феерических оттенков, нередко попадаетея прядка волос, вплетенная туда рукою женщины, которая медленно и любовно ткала этот ковер у своего солнечного очага, отмечая этим оконченный в тот день урок. Бескапе почти разбогател на этой торговле, и, вместе с опытом, у него явилось желание самому стать хозяином. Поэтому, когда Лестранад, директор Олимпийского цирка, предложил итальянцу ехать вместе с ним и его труппой на Дальний Восток, где он рассчитывал нажить большое состояние, Бескапе завел переговоры с товарщиками, особенно с теми, кому не очень хотелось пускаться в такой дальний путь, и, благодаря своей болтливости, близкой к красноречию, своему уменью убеждать

легко уговорил их довериться его руководительству и ехать с ним вместе в Крым, где, по имеющимся у него, вполне точным и проверенным данным, цирк должен был пользоваться огромным успехом.

Таким образом, около десятка артистов отпало от труппы, но Лестрапад не отказался от своего рискованного намерения. И в одно утро он, с труппой, еще довольно значительной, отправился в путь— сначала в Москву, потом в Вятку, проехал из конца в конец всю Сибирь, имел вооруженную стычку с монголами в пустыне Гоби, потерял большую часть своих артистов убитыми и всех лошадей, и лишь каким-то чудом добрался до Тянь-Цзыня, имея с собой только дочь свою, зятя и одного из клоунов. В Тянь-Цзынь неустрашимый директор прибыл на другой день после убийства консула и сестер милосердия, но это не испугало его и не лишило мужества. Отдохнув, он снова пустился в путь и добрался, наконец, до Шанхая, откуда, пополнив свою труппу матросами и китайскими пони, отплыл в Японию.

Тем временем, Томмазо Бескапе, закупив все необходимое, отправился в Симферополь, где цирк его, действительно, имел огромный успех. Хитрый дипломат-итальянец поступил очень умно: по прибытии на место, он тотчас вошел в сношения с местным офицерством и, так сказать, отдался со своей труппой под его покровительство; и офицеры, очарованные любезностью, живостью итальянца, его остроумием, его добродушным ребяческим смехом, наперерыв расхваливали цирк и зазывали в него посетителей. Началась общая жизнь, общие кутежи, во время которых по ночам будили и поднимали на ноги весь цыганский квартал,—кутежи, на которых донское шампанское лилось рекой, из рук в руки переходили грубо разрисованные подносы с печеньем и фруктами, цыганки плясали, а директор цирка и господа офицеры до зари любовались их плясками. В эти-то ночи Томмазо Бескапе, от природы влюбчивый, на шестом десятке был охвачен к юной цыганке страстью, какую способна возбуждать проклятая прелесть этих плясуний. Та испыты-

вала к нему не одно лишь отвращение подростка к старику, но и племенную отчужденность. Авдотья Рудак, мать танцовщицы, хоть и оказалась сводней, но сохранила предрассудки в отношении собственной плоти и крови, почему и соглашалась продать ему дочь,—да еще за сумму, поглощавшую весь доход от торговли коврами и от первого сезона в Симферополе,—лишь на основании законного брака. И вот, старый муж испытывал к молодой жене, которая вышла за него с нескрываемым отвращением и оставалась столь же холодной во все время их брачной жизни, обожание, близкое к волшебству. Страсть эта заставляла его, истомленного ревностью, шесть месяцев спустя покинуть Крым, а когда он стал отцом, сделала его равнодушным к младенчеству своих детей, словно вся нежность и весь пыл его сердца были отданы всецело и безраздельно чарующему существу.

Бескапе увез свою трупку в Италию, и оттуда почти сейчас же во Францию; с годами он понемногу ограничивал число конюхов и лошадей, свел состав своей трупки к скромным размерам, предписываемым уменьшением сборов и успехами конкуренции, и теперь, уже лет десять, как кочевал с нею по маленьким городкам, давая представления месяцев девять в году, а на зиму возвращаясь в свою родную страну и работая в течение этого невыгодного и трудного времени года в Ломбардии и Тоскане.

Томмазо Бескапе был не простой скоморох. У него было множество самых разнообразных знаний, неведомо откуда взявшихся, случайное образование, почерпнутое не из книг, но из уст всех тех людей разных национальностей, с которыми он сталкивался и которых расспрашивал в пути и на привалах; он много видел людей всякого сорта, и книга человечества была ему хорошо знакома. Вдобавок, он обладал еще одной способностью: прирожденным комизмом, умением изображать смешное. Он измышлял весьма потешные шуточные сценки. В свободные минуты он все время рылся в сборнике старых сценариев итальянских пантомим и, поистине, умел, подчас, использовать их умно и красиво.

* *

Степанида, или, в переводе на французский, Этьеннета—в труппе ее звали русским уменьшительным: Стеша—была еще совсем молода для матери двоих детей и красива дикой красотой, полной задора и надменности в осанке и движениях.

Ее густые, иссиня-черные волосы вились крупными, непокорными прядями над нежно очерченным, тонким овалом, какие встречаются на индийских миниатюрах. Ее черные глаза загорались порой электрическим блеском; на смуглом лице лишь веки от природы были слегка розоватые, словно едва тронутые стертими румянами, суровые уста всегда задумчивой Стеши порою складывались в загадочную улыбку. К этой своеобразной красоте изумительно шли мишура: фольга, блески, восточные ожерелья из поддельного жемчуга, балаганные диадемы с грубыми стеклами, вместо драгоценных камней, яркие тряпки с золотыми и серебряными разводами.

Выйдя замуж за иностранца, giorgio,—что редко бывает с цыганками, цыганка, по примеру своего народа, за столько веков не слившегося с европейской семьей, осталась истой дочерью первобытного племени, бродившего по Гималаям, ведущего свое начало от начала мира и от начала жившего под открытым небом воровством и всякого рода ремеслами, требующими ловкости рук. Несмотря на то, что она давным давно порвала все сношения со своим табором и жила в телесной близости с христианином, с итальянцами и французами, оставаясь в постоянном с ними общении, цыганке были чужды взгляды, склонности, навыки ума, самый дух и вся внутренняя жизнь ее сожителей; она сама держалась в стороне, мечтательно углубляясь в самое себя, уходя мыслью в прошлое, благоговейно оберегая привычки, вкусы, верования, перешедшие к ней от ее таинственных, далеких предков. Она жила в загадочном и странном общении с каким-то таинственным владыкой, королем цыганского народа, далеким и недоступным, который был вместе и король, и жрец, и, повидимому, поддерживал сношения с своими подданными при посредстве голосов природы,

меж тем, как они поклонялись ему тайными обрядами какого-то особенного культа, полного суеверий и путаницы всех религий. Так, нередко, Стеша посылала сынишку в церковь, к пономарю, попросить бутылку священной воды, которой она затем опрыскивала и внутренность кибитки и лошадей.

Только тело Стеши жило общей жизнью с европейским и западным миром, как воплощала его странствующая труппа; душой же она всегда уносилась далеко, и большие глаза ее, с заносчивым и блуждающим взглядом, в конце концов, как иные цветы, всегда обращались к востоку. И со своею второй, насильно ей навязанной, родиной, с теми людьми, с которыми свела ее жизнь, Стеша была связана одним только звеном—своим материнством, своею бешеной, почти животной любовью к своему красавчику Лионелло, которого она сокращенно звала Нелло.

Помимо своего материнства, эта странная женщина, с ее изумительной беспечностью, равнодушием к хорошим и дурным условиям жизни, с ее врожденным непониманием разницы между добром и злом, с памятью, в которой события оставляли лишь неполный и тусклый след, и смутным восприятием окружающего, свойственной некоторым дальне восточным народам,—эта женщина, казалось, все время грезила наяву и никак не могла проснуться, и жила на этой земле, словно не вполне уверенная в том, что существует.

* * *

Старший сын директора труппы, Джованни или Джанни, как его звали товарищи, имел сложение подростка, но в этом юном теле уже намечался рисунок силы; при усилии в нем явственно обозначались еще неокрепшие мускулы. На руках его уже перекачивались округлые выпуклости, сулившие ему бицепсы атлета; его грудная клетка обрисовывалась, слегка выступая, плоско, как на античных барельефах; на поясице, при каждом движении торса, обозначалась под кожей вся лепка больших, глубоко сидящих пучков нервов. Высокий, с длинными красивыми ногами, Джанни был красив

той академической красотой мужчины, которая вся в змеиной грации форм, одновременно стройных и плотных, отливавших на икрах, словно блеском бронзовых юношей, изящно утончавшихся под коленями и у лодыжек. Кроме того, у юноши бросалась в глаза длина сухожилий—признак слабости у простых смертных, признак мощи у гимнастов, обращающей при ракурсе сокращенного мускула длину эту в уплотненную и сжатую толщину.

В этом мире, куда большинство женщин и мужчин попадают и где они остаются из любви к его кочевому, бродячему быту, Джанни любил, страстно обожая самую свою профессию. Он не променял бы своего ремесла ни на какое другое. Он был акробатом по призванию. Он никогда не уставал повторять свой номер, если публика того требовала, и тело его, двигавшееся в такт аплодисментам, казалось, не хотело и не могло остановиться. Он испытывал глубокое внутреннее удовлетворение, когда ему удавалось удовлетворительно исполнить трудный номер, правильно и изящно. И над этим номером он работал без конца, силясь усовершенствовать свою работу, внести в нее четкость, грацию, то волшебство, с которым ловкость и умение торжествуют над кажущимися невозможностями физического мира. Те новые акробатические фокусы, слава о которых доносилась до походного фургона его отца, Джанни пытался усвоить заочно, по наслышке, с комическими приступами горя и отчаяния, и трудился до тех пор, пока не добивался своего. И, когда в пути им встречалась другая кочующая труппа, первым вопросом Джанни было: «Ну, что, не выдумали ли в Париже чего-нибудь новенького?»

Ночи его были тревожны, как ночи дровосеков, в которых кошмар усталости возобновляет утомительную работу дня, и тело Джанни, воюя с матрацем, и во сне повторяло трудные упражнения, к которым его приучила его профессия.

* * *

Что касается его младшего брата, это был еще грудной младенец, которого мать, в своей узкой нерасторжимой

материнской привязанности, упорно продолжала кормить, хотя ему было уже три года,—и нередко мальчуган бросал ребятишек, с которыми он играл, чтобы пососать грудь, и затем бегом возвращался к ним.

* * *

Сила в оболочке кротости и добродушия—таков был Геркулес труппы, удивительно ленивый и скупой на движения, когда ему не нужно было «работать». Сидел он всегда, как неживой, грузный, раздавливая своим тяжелым торсом стулья и скамьи, трещащие под ним,—и в лице его было что-то угрюмо животное, как у фавнов Приюдона, а во рту его, всегда полуоткрытом, поблескивали волчьи зубы. Одаренный исключительным аппетитом, который ничто не могло утолить, он уверял, что за всю свою жизнь ни разу не наедался досыта, и это делало его печальным, словно желудок, который постоянно ощущал бы в себе пустоту.

* * *

У паяца, с его бритым лицом и черепом, как у шелудивого, была одна из тех «средневековых» голов, модели которых живописец Лейс еще ухитряется находить для своих картин в старом австрийском Брабанте. То были словно рудиментарные и убогие черты первобытного человека, еще не сложившегося в определенный тип: глаза, точно вытекшие из-под неопределенно очерченных век, нос—простое утолщение кожи, рот—точно отверстие бесформенного горшка, — зародыш лица какого-то грязно-серого цвета.

И душа у него была, под стать внешности, такая же гадкая; злобный исподтишка, сварливый, придирчивый, он таскал все, что ни попадется под руку, а особенно провизию, отложенную на завтра.

Его давно бы уже прогнали из труппы, еслиб не заступничество Степаниды, питавшей какую-то тайную и странную симпатию к этому человеку, в котором она признавала инстинкты коварства, злобы и вороватости, свойственные ее племени. Агапит Кошегрю любил мучить животных; во время представления он всегда старался

сделать больно другому, и даже в его балаганном гаерстве чувствовалась затаенная обида за все те пинки и тычки, какие ему доводилось получать.

Больше всего от него доставалось Геркулесу: он мучил его, дразнил, выводил из себя самыми дьявольскими ухищрениями, уязвляя в самые чувствительные места глупого силача, который не смел расправиться с ним по-своейски, из боязни одним ударом убить своего гонителя. И слабейший безжалостно пользовался преимуществами своей слабости над сильным, из которого он делал себе потеху. Иной раз случалось, однако, что Рабастан, выйдя из терпения, одним толчком ладонью, и то не очень сильным, швырял от себя прочь паяца. Тогда Агапит Кошегрю принимался горько плакать, как-то по-детски гримасничая, и огорченное лицо его в такие минуты было и жалко, и уродливо, и смешно, а нелепые жесты, усвоенные им при изучении ремесла паяца, которому он отдал всю свою жизнь, были невыразимо потешные. Но тотчас же он усаживался вплотную около своего врага, чтобы не дать ему возможности вторично шлепнуть его, и, защитившись таким образом, начинал злобно и пребольно толкать его локтями в бока и ругать «трусишкой». И так он сидел подолгу, прижавшись к колоссу, всхлипывая и сморкаясь.

* * *

Тромбонист был жалкое создание, стоявшее на самой низкой ступени своего искусства, живущее в таком убожестве и нищете, что самые смелые его желания не шли дальше возможности снять с своего скромного заработка чашечку кофе с прибавкой рюмочки. Это было пределом его честолюбия. И что же? Этот артист без гроша в кармане, не имевший даже рубашки, ходивший в платье, состоявшем не столько из свалявшейся шерсти, сколько из грязи в жиру, и в башмаках, с отставшими подошвами, подбитыми большими гвоздями и напоминавшими разинутые челюсти акулы,—этот глубоко жалкий человек был счастлив. Он жил в нежной дружбе с существом, которое он любил и которое платило ему тем же, и эта дружба заставляла его забывать все, вплоть до ядовитых выхо-

док паяца. Другом его была собака, тоже член труппы, которая, после болезни, очень напоминающей воспаление мозга у человека, стала забывчива и по временам до такой степени теряла память, что не в состоянии была выполнять все те умные фокусы, которые она умела проделывать в состоянии здоровья. Тромбонист, не избалованный любовью своих ближних, женщин и мужчин, до такой степени привязался к бедной собаченке, теперь уже почти непрерывно хворой и хилой, что, когда у нее слишком уж наливались кровью глаза, лишал себя в течение нескольких дней своего блаженства—чашки кофе, на которую он, по грошам, копил деньги,—чтобы купить ей слабительного. За это—не за слабительное, которое было Ларифлетте вовсе не по вкусу—а за все его заботы, сопровождавшие прием слабительного, больная собаченка в добрые минуты благодарила своего благодетеля взглядами, в которых было столько нежности, сколько только может вложить в свой взгляд животное; порою даже признательным смехом, оскаливавшим все ее зубы—так как эта собака умела смеяться. Вся труппа была свидетельницей этого и, если понадобилось, присягнула бы в том на суде. Однажды утром Ларифлетта увидела, как ее приятель разогревает что-то на таганце, в хорошо ей знакомой кастрюльке; собака все время вертелась около него, с поджатым хвостом, с недовольным видом, но покорная. Она видела, как хозяин снял дымящуюся жидкость с огня, перелил в стакан, быстро размешал ложечкой, а затем к великому ее удивлению, стакан поднялся мимо ее собственного носа, все выше, выше, до самого рта тромбониста, в котором жидкость и исчезла.

В то мгновение, когда Ларифлетта убедилась, что лекарство, вызывавшее у нее колики, было проглочено ее старым другом, а не ею самой, ее собачья физиономия расплылась в таком радостном и насмешливом безмолвном смехе, какой только может озарять человеческое лицо.

* * *

Битая была обязана своим прозвищем детству и юности, представлявшими собою длинный ряд всяческих унижений, грубых оскорблений и побоев.

В семь лет она осталась без крова, и когда ее подобрали на улице Парижа, она рассказала о себе на суде следующее: «Мои папа и мама умерли от холеры... Дедушка поместил меня в приют... он тоже умер через неделю после папы и мамы... тогда я вернулась в Париж и заблудилась в нем, потому что он такой большой...» Теперь это была женщина двадцати восьми лет, с темно-красным, словно дубленным лицом, как у индианки, и такими же руками, до локтя почти черными, с явственно выделявшимся белым оспенным знаком повыше локтя. Всегда одетая в розовое тарлатановое платье с искусственными листьями и ветками, стянутое поясом, расширявшимся на животе и украшенным печатными красными кабалистическими знаками, она поражала необычайной тонкостью и нервной гибкостью своего стана под огромною грудью. Под глазами у нее были большие, темные круги, и от этих кругов, на смуглом лице, синеватый белок глаз казался до жути ярким. Волосы у нее были зачесаны вверх на китайский лад и связаны на затылке, при чем она обыкновенно втыкала в них две серебряных маргаритки; сзади они ниспадали на спину черной жесткою гривой.

Мышцы ее шеи обрисовывались толстыми веревками над впадинами ключиц и худой верхней частью груди, так как она была очень худа, и только груди, бока и ноги были у нее полные и сильные.

Рот у Битой был большой, с красивыми белыми зубами; нос—вздернутый и в то же время сдавленный с боков; на щеках, пониже скул, были ямки, так что иной раз, при соответствующем освещении из-под кожи лица явственно выступал очерк мертвого черепа. Лихорадочный огонь в глазах, нездоровая, лоснящаяся кожа, худоба шеи и лица, все тело, истощенное, истасканное, говорили о пережитой нужде, страданиях, голодовках, простудах, солнечных ударах, об усталости женского организма, об юности, в которой молодой девушке нередко приходилось заменять пищу водкой.

На подмостках Битая обыкновенно стояла, грызя цветочек, положив раскрытые ладони на бедра и все время как-то сердито обдергиваясь, как будто ей хотелось

вытянуть свою талию и приподнять ее выше торса; затем, откинувшись всем телом назад, она заламывала руки впереди себя, переплетая пальцы, и замирала, недвижимая, устремив взор в пространство с землистыми ноздрями, с полуоткрытым ртом.

Глава III.

На рыночной площади маленького городка, верней, местечка, где мэр разрешил цирку Томмазо Бескапе дать одно представление, члены труппы торопливо работали, вырывая траву с большого круга, возле которого уже успела набраться куча земли и увядшего дерна; колышки, вбитые в землю и связанные поводьями, обозначали арену.

Посредине этой взрытой и едва утоптанной земли возвышалась высокая мачта, с которой спускались, образуя крышу балагана, трехугольники зеленого холста, собранные и связанные бечевками; кусок толстой мешочной парусины, привязанной к этому легкому потолку, образовал круглую боковую стену цирка. Стержень мачты терялся внизу в пригорке желтого песку, необходимого для борьбы; по мачте, при помощи системы блоков, поднималась и спускалась на веревках деревянная рама, утыканная большими гвоздями; в эти железные зубы вставлялись вечером пять-шесть керосиновых лампочек, к которым итальянец приделал рефлекторы, ловко использовав для этой цели коробки из под сардинок. С одной стороны мачты, очень высоко, была прикреплена толстая железная проволока, другой конец которой привязывался к столбу у барьера; по ту сторону мачты, почти прижатая к ней, виднелась небольшая качающаяся трапеция, с поперечной перекладиной, на высоте примерно метров восьми от земли.

Против входа помещался внутренний оркестр предприятія — шарманка, беззубая, с хрипами, с отбитым куском стекла над картинкой, в которой также не доставало угла, — она ожидала какого-нибудь подобранного на улице мальчишки, который, чаще всего, одной рукой вертел

ручку, а в другой держал зеленое яблоко, данное ему за труды.

Скамьи, наскоро сколоченные местным столяром из некрашенных белых досок, уже возвышались уступами, причем первые места отличались от вторых натянутой на доски узкой полосой бумажной ткани, из какой делают носовые платки для инвалидов, и даже не покрывавшей их целиком; кроме того, они были обнесены барьером, оклеенным золоченой бумагой, с овалами, образующими рамки к турецким пейзажам, написанным в один цвет, сильным по лазоревому полю.

В конце концов, отец Томмазо укреплял огромную портьеру старинного ситца, неведомо где им добытого, сплошь в павлиньих хвостах в естественную величину; будучи спущена, портьера эта отделяла сцену от кулис, приютившихся под открытым небом; чтоб обереечь эти кулисы от любопытства бесплатных зрителей, дирекция отгораживала их сдвинутыми вместе двумя повозками и целой баррикадой из ширм.

Когда все было кончено, паяц наклеивал по обе стороны входной двери афишу,—одну на весь сезон—лживую афишу, по которой можно было судить и об умении директора составлять рекламы, и о его добродушном лукавстве, и о его литературном образовании и даже о его познаниях по латыни.

ЦИРК БЕСКАПЕ.

Палатка непромокаемая и стоившая больших денег представляет собой убежище столь же надежное, как если бы это была каменная постройка.

Цирк освещается вечером системою керосиновых ламп, в которых сам собой образуется светильный газ.

Патент американский, выданный в Голидее.

Артисты труппы, все выдающиеся по своим достоинствам и пользующиеся широкой известностью, были ангажированы (не щадя расходов) в лучших европейских учреждениях этого рода.

Среди них:

МАДАМ СТЕПАНИДА БЕСКАПЕ

(Curriculi regina).

МАДЕМУАЗЕЛЬ ГОРТЕНЗИЯ ПАТАКЛЕН

Сильфида проволоки и жемчужина цирка; красота фигуры и поз ее выше всяких описаний.

ГОСПОДИН ЛУИ РАБАСТАН

Единственный и несравненный атлет.

Одаренный силою Геркулеса, он бросает вызов всему миру; с самой ранней юности он никогда не испытал, что значит... быть положенным на обе лопатки.

ГОСПОДИН ДЖИАННИ БЕСКАПЕ

L'Intrepido senza rivale nel trapezo,

являющий в своих упражнениях идеал мужской красоты.

Г. АГАПИТ КОШЕГРЮ,

соединяющий с гибкостью позвоночника веселый ум, остроумнейшие образчики которого, отпечатанные в небольшой книжечке, будут раздаваться даром посетителям первых представлений.

Г. ТОММАЗО БЕСКАПЕ,

мимист обоих полушарий.

Известен пантомимами собственного сочинения: «Вывертанный зуб», «Борода Гарготена», «Заколдованный мешок» и др., которые он имел честь представлять в присутствии его высочества султана и г. президента республики Соединенных Штатов.

Кроме того, в состав труппы входит:

ЛАРИФЛЕТТА.

Пудель этот, юная правнучка знаменитой собаки Мунито, обнаруживающий ум, выше которого и вообразить нельзя, в заключение укажет среди публики наиболее влюбленную особу.

Комические персонажи труппы шаловливы, забавны, вполне приличны, смешат, не впадая в вульгарность и не говоря ничего такого, чего нельзя было бы слушать молодой девице. В заключение спектакля дана будет восхитительная пантомима:

«ЗАКОЛДОВАННЫЙ МЕШОК»

при участии всей труппы.

Маленькие лесенки, ведущие от арены к рядам скамей, были уже приколочены; Стеша сидела снаружи за маленьким столиком, на котором стояла касса. Сквозь грохот большого барабана, звуки тромбона и топот ног директора уже прорывались нелепые выкрики паяца, и Бита я, бешено извиваясь всем телом и хлопая в ладоши, уже призывала одуревшую от всего этого шума толпу пронзительными выкриками: «Входите, входите, господа, представление сейчас начнется».

Снаружи ярко светило солнце, а под шатром, где спущенные веревки хлопали о потолок с легким шумом, какой мы слышим на парусных судах, царил мягкий полумрак, прохладный, нежно обесцвечивающий лица и предметы; лишь там и сям, в щель между двумя плохо скрепленными полотнищами парусины, проникал солнечный луч и приводил в пляс золотые пылинки. На серой парусиновой стене цирка, пронизанной светом, профили людей, проходивших мимо, скользили силуэтами китайских теней. Посредине большого занавеса с павлиньими хвостами просовывалась голова Стеши, словно одетой во все эти перья и глазки,—так четко обрисовывал занавес, к которому она прижималась, ее грудь, плечи и живот. И глаза ее из-под длинных ресниц злобно смотрели на затененную залу.

Представление должно было сейчас начаться, и Геркулес, показывая на полном свете, падавшем из входной двери, свой грозный затылок, уже вытаскивал томным движением гири из-под скамьи, на которой он сидел, расставив ноги.

Глава IV.

Вздыхая, брюзжа и ворча, ежеминутно прерывая свои упражнения с гирями, чтобы перевести дух, задумчиво почесать рукой затылок, или же бросить нежный взгляд на кисти своих рук, на которых он ежеминутно оправлял кожаные манжеты, Геркулес подбрасывал на воздух двухпудовые гири без всякого увлечения. Хотя все его упражнения, казалось, не требовали от него никаких

усилий и не утомляли его тела, у этой горы вздувшихся мускулов был жалкий вид, как у человека, случайно выступившего в роли атлета, изнемогающего под этим бременем, моля у всего окружающего одобрения и поддержки. Как только музыка стихала, вместе с гирей тяжело падала и его вытянутая рука и поднималась вновь только тогда, когда шарманка опять начинала играть. Перед каждым новым номером, он жалобно и плаксиво, как ребенок, шептал: «Ну, что же, господа. Похлопайте немножко».

Когда сверху неожиданно летели на арену чьи-нибудь трусики, что означало предстоящую борьбу—это бывало не часто, так как мускулатура грозного атлета запугивала публику,—Геркулес подходил к своему противнику с невыразимо скучающим видом, как бы готовый заплатить ему, только бы он согласился не беспокоить его понапрасну. Он спешил повалить противника и делал печальное, безутешное лицо, когда кто-нибудь оспаривал правильность борьбы и оказывалось необходимым вторично уложить противника на обе лопатки, так чтобы все это видели. Отделавшись от лежащего на земле противника, которого он не устаивал даже взглядом, атлет отходил, как-то весь опустившись и болтая руками, снова садился на свою скамью и, обхватив руками голову и поставив локти на колени, до конца представления, грезил с полузакрытыми глазами о чудовищных трапезах Гаргантюа.

После Геркулеса обычно выступал Джанни, в классическом костюме провинциального акробата: ярко-розовой фуфайке с бархатным нагрудником, на котором был прескверно вышит цветок—Анютины глазки; с медным обручем на голове, в зеленых трусиках, закрытых юбочкой, ниспадающей до бедер, тоже вышитой, как нагрудник, и обшитой золотой бахромой, в белых ботинках, стянутых серебряными шнурками. С одного прыжка он хватался за трапедию и раскачивался в воздухе, причем руки его, во время полета, порой выпускали перекладину и вновь брались за нее с противоположной стороны.

Он летал и кружился вокруг этого куска дерева, то с головокружительною быстротой, то замедляя темп, момен-

тами висят горизонтально в пространстве, как тело, недвижно лежащее на воде.

Во всех этих упражнениях, выполняемых единственно силою рук, чувствовался размеренный ритм мышечной работы, мягкость усилий, неги в движениях и прыжках, подобная едва заметному продвижению по деревьям так называемых обезьян-ленивцев и напоминающая медлительные подъемы исключительно на мускулах неподражаемого Джемса Эллиса.

Лежа спиной на перекладине, гимнаст нечувствительно соскальзывал назад, падал вниз—на миг повергая в страх и трепет зал—и на полдороге неожиданно останавливался, зацепившись за перекладину коленками, и так раскачивался некоторое время, головою вниз; потом, с значительной высоты прыгал на землю, совершив сальто-мортале.

С этой трапецией, этим трамплином для рук, развивающим нечеловеческую эластичность мышц и нервов, Джанни проделывал тысячи упражнений, во время которых тело его как будто обретало крылья, становилось воздушным.

Он повисал, например, на одной руке, и на мускулах этой руки тело его постепенно поднималось и опускалось, боком, в тех позах, которые японские художники в своих своеобразных бронзовых фигурках придают обезьянкам.

Работа на трапеции повергала юношу в какое-то телесное опьянение: он не мог насытиться и кончал свой номер, только когда зрители, пугавшиеся возраставшей смелости акробата, начинали кричать: «Довольно».

— Милостивые государи, мы продолжаем... продолжение,—наставительно пояснял паяц.

Джанни сменяла Битая. Мигом взобравшись на верхушку толстого столба с перекладинами, изображавшими лестницу, сильфида уже стояла на проволоке, в развевающейся газовой юбочке, держа над головою венчиком руки, служившие ей живым балансом. Она подвигалась вперед скользящими шагами, переставляя то одну, то другую ногу, словно выдолбленную снизу, нащупывая пу-

стоту, словно изогнутым концом весла. По упругой проволоке, то поддававшейся, то выгибавшейся, акробатка шла, как будто поднимаясь и спускаясь по ступенькам лестницы.

Розовые блики проворно скользили по округлостям ее ног, до косточек лодыжки, сквозь перекрещивавшиеся шнурки ее ботинок; подвижные тени скоплялись на мгновение во впадинах под коленами. Дойдя до конца, она быстро-быстро, скользя на обеих, поставленных друг за другом, ногах, возвращалась на середину проволоки, все время нагибаясь и приседая, как будто вбирая ноги внутрь тела; затем, внезапно опрокидывалась на спину и вытягивалась во всю длину на невидимой нити, в недвижной позе спящей, склонив головку на плечо, разметав волосы, сложив одна на другой ноги, словно две трепетные птички, отдыхающие под одним крылом. И, в течение нескольких мгновений, среди распущенных волос и развевающихся тканей, тело женщины лениво покачивалось в воздухе, как будто без малейшей точки опоры. Несколько судорожных движений мышц спины, несколько привставаний мгновенно снова опускающегося торса,—и акробатка вдруг оказывалась снова на ногах, почти красивая в рамке шуршащих, струящихся блесток, оживленная радостью достижения и удовольствием от рукоплесканий.

— Милостивые государи, последний номер!—заявлял паяц.

После этого, Битая появлялась снова, с маленьким столиком, уставленным тарелками, бутылками, ножами, золочеными шариками. И тотчас же, над головой фокусника все эти вещи начинали, одна за другой, порхать, летать, скрещиваясь и эдакогда не сталкиваясь, вылетая из-под его ног, из-за его спины, неизменно возвращаясь в его ловкие руки и улетающая снова. Предметы то взлетали к потолку, но медленно, неспешно и на далеком расстоянии один от другого; то описывали низкие сомкнутые круги над головой эквилибриста, кружась так быстро и так близко от него, что казались звеньями цепи с невидимой спайкой. Джанни бегал по арене, жонглируя с

тремя бутылками, не останавливаясь, вскакивал на стол, становился на колени и, прежде чем вновь швырнуть бутылку, стучал ими по столу, и от этого стука стеклом по дереву получалась презабавная музыка. Последнюю бутылку он клал себе на руку и единственно игрою мускулов укладывал ее плоско, ставил стоймя, подбрасывал на воздух и, падая, она надевалась ему горлышком на палец.

У него была восхитительная и совершенно своеобразная манера, вытянув руки, перебрасывать горизонтально из одной руки в другую медные шарики,—казалось, что он разматывает золотой клубок, держа его перед собой.

Джанни был замечательным жонглером: руки его были одарены таким ласкающим и притягивающим прикосновением, что плоские поверхности как будто сами приставали к ним, словно у него были щупальцы на концах пальцев. Восхитительно и забавно было видеть, как этот юноша брал тарелку, слегка склонялся над нею своим гибким телом, улыбаясь особенной улыбкой волшебника, забавляющегося своим колдовством, и как эта тарелка снова и снова летала взад и вперед в пространстве, ежеминутно готовая упасть и никогда не падая. Бывали даже моменты, когда тарелка отделялась от его руки, совсем как крышка открываемого ящика, и стояла ребром на кончиках его пальцев и снова, покорная, ложилась на его ладонь, как бы притянутая на шарнире.

Джанни умел делать и более трудное—жонглировать с тремя предметами разного веса: гирей, бутылкой и яйцом, причем яйцо, в итоге, оказывалось в углубленном дне бутылки.

В конце концов, в заключительном номере, Джанни, перебрасывая из руки в руку горящие факелы и вращая шары и салатники на кончиках палочек, стоявших у него на груди и на подбородке, среди отблесков фарфора и искр, выбрасываемых горячей смолой, оказывался центром и осью всего этого «колдования вещей», по старинному и живописному выражению королевского проповедника, Рене Франсуа.

Глава V.

Представление заканчивалось дивертисментом, с участием двух-трех членов труппы, в котором выступали то Битая, то паяц, то Геркулес, и в котором директор, сам исполнявший главную роль, вносил столько фантазии в композицию и инсценировку, как не часто можно встретить в балагане. Это были шуточные сценки без начала и конца, забавные *imbroglio*, перемежающиеся оплеухами и пинками в зад, имеющими особую привилегию потешать мир, с тех пор, как он существует, намеки, находчиво подчеркнутые саркастическими гримасами, потешные переодевания, головокружительные измышления, полные грубоватого, но забавного балаганного юмора, для выполнения которых в старом теле директора находилось достаточно еще ловкости и умения.

В юности Томмазо Бескапе был гимнастом не из последних. Он рассказывал, что в одной пантомиме собственного сочинения ему приходилось спасаться с мельницы, где заставлял его муж мельничихи, шагая по концам вытянутых палок, которые держали люди, подговоренные мельником, чтобы отколотить женина любовника. Но, с годами, итальянец вынужден был ограничиться пантомимами, требующими более скромных гимнастических достижений и в которых он мог довольствоваться несколькими кабриолями, вводя в ход интриги то «прыжок труса», то «прыжок пьяницы».

Из этих пантомим с прыжками собственного его сочинения, Бескапе в последнее время особенно страстился к маленькой интермедии, как нельзя лучше приспособленной к его теперешним средствам и, вдобавок, имевшей величайший успех и у городских, и у деревенских зрителей. Это была пантомима под заглавием:

ЗАКОЛДОВАННЫЙ МЕШОК.

1. В окрестностях города Константинополя, изображаемого ширмой с верхом, вырезанным в форме минаретов, прогуливается старый Бескапе, переселенный англичанкой, в неизбежных синих очках, под блекло-зе-

ленным вуалем и карикатурном костюме английской туристки.

2. Встреча англичанки с двумя неграми-евнухами.

3. Вкрадчивая и непристойная немая игра негров, исчисляющих англичанке все преимущества и удовольствия, ожидающие ее в серале Падишаха.

4. Добродетельная и возмущенная пантомима англичанки, заявляющей, что она честная мисс и предпочитает погибнуть, нежели утратить девственность.

5. Евнухи пытаются похитить англичанку. Молодая женщина героически сопротивляется, после чего один из евнухов вытаскивает мешок, с помощью своего товарища, укладывает в этот мешок англичанку и завязывает мешок веревкой, продернутой в рубец.

6. Оба евнуха вместе взваливают себе на плечи мешок, в котором похищенная англичанка дрыгает ногами, бьется и барахтается, как дьявол.

Тут-то и наступал неожиданный эффект. В тот самый момент, когда евнухи с своей ношей готовились уже исчезнуть за кулисами, мешок раскрывался с другого конца, и англичанка выскакивала... в одной рубашке и убегала со всех ног, преследуемая евнухами, стыдливо вскрикивая и закрываясь, что выходило у нее необычайно комично, спотыкалась, падала и снова пускалась бежать, совершенно растерянная и уморительно конфузящаяся своего скромного белого туалета... А зрители надрывали себе животики от смеха, пока англичанка не исчезала, прыгнув в форточку, неожиданно открывавшуюся в ширме.

Глава VI.

Еще совсем крошкой, лет трех-четырех, Нелло уже присутствовал на представлениях отцовской труппы, внося в них любопытство, светившееся в живых детских глазках, и радостную подвижность своего маленького детского тельца.

На сцене он появлялся вначале, прячась за юбкой Битой, за которую он цеплялся обеими руками, лишь изредка высовывая золотистую головку, еще покрытую

чепчиком из трех частей, какие носят в раннем детстве, с выбивавшимися из-под чепчика белокурыми завитками. Испуганный глухим говором на скамьях зрителей, он мгновенно прятал голову и чепчик в тарлатан, расшитый блестками; потом снова показывал уже несколько большую часть своей маленькой особы и на более продолжительное время, и понемногу привыкал и переставал бояться.

Вскоре, в милом порыве застенчивой смелости, с решимостью, сопровождавшейся очаровательными колебаниями, Нелло, набравшись храбрости, переходил через арену неуверенными, робкими шагами, беспрестанно оборачиваясь и взглядом ища позади себя защиты и убежища.

Наконец, неожиданно прыгнув вперед, он хватался за барьер, всем телом прижимался к поперечному брусу и оттуда, пряча личико за рампой, и руками, обхватившими ее, исподтишка, с любопытством оглядывал зрительный зал.

Но вскоре ликующий грохот литавр за его спиной выводил его из пугливой неподвижности и придавал ему уверенность; маленькие ножки сами собой начинали приплясывать на месте, надутые губки забавно подпевать в такт музыке, и через минуту белокурая головка, перевесившись через рампу, уже бесстрашными глазами разглядывала все эти лица, обращенные к ней.

Музыка играла все шибче, все быстрее, и, под яростный грохот финала, под рев рупора, выкрики артистов и оглушительные одобрения и рукоплескания зрителей, ребенок, захваченный общим возбуждением, поднимал с земли кем-то брошенную дырявую шляпу, старый платок, и, напялив их на себя, в этом маскарадном костюме, словно один из членов труппы, словно на нем уже лежала обязанность забавлять публику, с важным видом ковылял на своих неокрепших ножках, изо всех сил отбивая такт, вслед за паяцом, через всю арену, подражая его шутовским жестам, полускрытый огромною шляпой; а сзади, в прореху платка, выглядывал кончик его рубашенки, вылезший из штанишек.

Глава VII.

Лишь только кончалось последнее представление, мачта снималась, парусина, веревки и колышки, со всеми аксессуарами, поспешно укладывались в огромный сундук, старая белая лошадь впрягалась в оглобли и, неспешной рысцей, увозила фургон.

Передвижной дом, с утра до ночи раз'езжавший со своими обитателями по большим и проселочным дорогам, а на ночь останавливавшийся на берегу источника, причем из раскрытых на империале корзин щетиной торчала солома, а на колесах сушились носки; фургон, из которого по вечерам выпрятали лошадь и который из своего крохотного окошечка бросал луч света в темень безлюдных полей—такова была «маренготта», походное жилье на колесах, в котором скоморох рождается, живет и умирает, куда входят, один за другою, акушерка и могильщик; движущийся дощатый приют, к которому его обитатели проникаются такой же любовью, как моряк к своему кораблю.

И обитатели «маренготты» ни за что не стали бы жить в ином месте, ясно сознавая, что только в ней, под убаюкивающую тряску, им доступны сладкие дремотные грезы после полудня и возможность выскочить, когда вдруг захочется подняться пешком на какой-нибудь располагающий холмик, и радость утреннего пробуждения в знакомом месте, которое накануне в сумерках едва успел разглядеть. Когда светило солнце, разве не достаточно было для жилья этой повозки в рамке лугов и кайме лесов?

А когда шел дождь, разве не было под портиком по ту сторону тормоза небольшой печурки, заменявшей плиту, и разве комната Битой не могла быть превращена, в случае необходимости, в общую столовую? Потому что фургон был так обширен, при высоте корабельной каюты, что в нем помещались две и даже три комнаты.

Во-первых, узенькая галлерейка, идущая вокруг кибитки; затем, первая комната, где посредине был прибит к полу большой стол, куда на ночь клали матрац, на котором спала канатная плясунья.

Из этой первой комнаты, дверь в глубине вела во вторую, где помещался сам директор и спала вся его семья, за исключением Джанни, жившего вместе с другими мужчинами в зеленой повозке.

И из этой своей комнаты итальянец сделал две, установив ширмы, которые на ночь сдвигались, образуя закрытый альков для супружеского ложа—кровати красного дерева с тремя матрацами.

Деревянные стенки ежегодно подкрашивались заново, и, из-за белых занавесок на крохотных окошечках, с простодушно варварскими лубочными картинками на ширмах, воспроизводящими старинные легенды, с плетеной люлькой Нелло, стоявшей в углу, эта маленькая, и низенькая, и тесная семейная спальня была уютна и весела, как чистенькая коробочка, полная запаха душистых матрацов, которые Стеша каждое лето набивала тмином, в пору его цветения.

Над широкой мешчанской кроватью висела на гвоздике яркая тряпка—юбка, в которой когда-то, в молодости, цыганка плясала в Крыму, юбка с нашитыми на нее кусками красного сукна, вырезанными в виде кровавых сердец.

Глава VIII.

Степанида Рудак была заботливой матерью своему старшему сыну, но матерью не нежной, не привязанной к нему всем существом, не испытывавшей умиления и счастья от его близости; ее материнские заботы о нем были как бы исполнением долга и ничем больше. Джанни платился за то, что был зачат в первые дни брачной жизни, когда мечта молодой женщины безраздельно стремилась к юноше собственного племени и когда с уст супруги Томмазо Бескане то и дело срывалась эта песня ее страны:

«Старый муж, грозный муж!

Жги меня! Режь меня!»

.....
Ненавижу тебя!

Презираю тебя!
Я другого люблю.
Умираю, любя!

И вот, всю дикую страстность своей материнской любви, не нашедшей дотоле исхода, цыганка перенесла на Нелло, родившегося двенадцать лет спустя после брака, на своего последыша. Она и его не целовала, не ласкала, но, прижимая к груди, душила в своих объятиях. Джанни, под холодной внешностью которого крылось любящее сердце, страдал от такой неравномерности материнской неискренности, но предпочтение, отдаваемое младшему брату, не вызывало в нем ревности. Джанни находил вполне естественным, что мать предпочитала ему Нелло. Он знал, что сам он не пригож, и часто бывает угрюм. Он мало говорил; его молодость не вносила веселья в семью; в нем не было ничего такого, чем могла бы гордиться мать. Он даже как-то не умел выразить своей сыновней любви. Его малютка брат, наоборот, вносил красоту в каждую ласку и обаяние в каждый нежный порыв и был удивительно мил и ласков, так что все матери завидовали его матери, и нередко встречные прохожие просили позволения поцеловать его. Детское личико Нелло было всегда радостно, как утренняя заря.

И сколько в нем было забавного, милого, мальчишеских выходов, сколько детских потешных речей, вопросов, которые всех смешили, очаровательных выдумок, сколько движения, жизни, веселья и шума он всюду вносил с собою! Словом, это был обольстительный ребенок, отрада, дарованная людям, и нередко его смеющийся розовый ротик и черные глазки заставляли труппу забывать и плохой сбор, и черезчур скудный ужин.

Все баловали мальчика, но ему всех милей был старший брат, хотя тот подчас и бранил его; и, при всей своей болтливости и шумливости, он подолгу смирно сидел возле безмолвного Джанни, как будто ему нравилась его молчаливость.

Глава IX.

К ремеслу акробата Нелло начали готовить с пяти лет, даже с четырех с половиной. Вначале, это была просто гимнастика, вытягивание рук, сгибание колен, легкая обработка детских членов, мышц и нервов, бережно щадящая детские силы. Но, почти одновременно с этим, раньше, чем кости, окрепнув, могли утратить свою младенческую гибкость, Нелло стали заставлять и раздвигать ноги, с каждым днем все шире, так что через несколько месяцев ребенок мог раздвинуть их горизонтально.

Маленького акробата приучали также, обхватив ногу, рукой поднимать ее до уровня головы, а затем садиться и вставать на свободной ноге. Джанни, нежно нажимая одной рукой на его животик, другой осторожно, постепенно перегибал назад торс и головку мальчика, каждую минуту готовый подхватить его, если он упадет. И, когда детская спинка научилась откидываться назад, Нелло поставили в двух шагах от стены, в которую он упирался обеими ладонями, и каждый день, по мере того, как перегибалось туловище, руки его спускались на несколько линий ниже, пока, наконец, в один прекрасный день они не коснулись пяток. Ребенок научился, что называется, перегибаться вдвое. Так, постепенно, полегоньку, без излишней торопливости, с помощью конфет и похвал, тешивших тщеславие юного гимнаста, недавно только отнятого от груди, детское тело становилось гибким и упругим. Все у той же стены, которая для начинающего была, примерно, тем же, чем близость материнских рук для ребенка, учащегося ходить, мальчика заставляли ходить на руках, чтобы укрепить кисти и приучить свой позвоночник искать и находить устойчивое равновесие.

К семи годам, Нелло уже отлично умел проделывать «рыбьи прыжки», при которых, лежа в растяжку на спине, без помощи рук, мальчуган поднимался на ноги одним усилием мышц спины.

Затем, началось изучение других прыжков: прыжка вперед, при котором юный гимнаст, опираясь руками о-земь перед собой, делает скачек всем телом и медленно

выпрямляется на ногах, пришедшихся возле его рук; «обезьяний прыжок», в обратную сторону, причем гимнаст упирается руками в землю позади себя; «арабский прыжок» — в сторону, напоминающий «колесо».

Во время всех этих упражнений, Нелло чувствовал около себя руки брата, готовые поддержать и подхватить его, все время чувствовал на своем теле его ладонь, которая его выпрямляла, поддерживала, направляла, придавала уверенность и размах его неустойчивым движениям.

И позже, когда у Нелло уже явилась уверенность в себе, Джанни привязывал его к себе веревкой, прикрепленной к поясу, отпуская ее по мере того, как маленький братишка приближался к совершенству выполнения. Пришло время, когда Нелло взялся, наконец и за сальто-мортале: вначале он прыгал с маленького возвышения, которое постепенно уменьшали, пока, наконец, он не научился делать этот прыжок на ровном месте.

Надобно сказать, что у сына цыганки и от природы тело было не «деревянное»: у него была общая с отцом и братом врожденная способность к прыжкам, не только обычным гимнастическим, но и прыжкам с составленными вместе ногами, в которых требуется особый размах, и в семь-восемь лет он уже достиг такого искусства, что и братьям постарше его было не утнаться за ним. Старик Бескапе, с высоты своих энциклопедических знаний, посмотрев однажды, как Нелло прыгает, сказал Степаниде:

— Жена, ты видишь, — он указывал на пятку мальчика и длину *calen eum* — с таким сложением этот мальчишка будет современем прыгать, как обезьяна.

Глава X.

Однажды утром, пробудившись, Нелло увидал разложенным на стуле все то, чего он жаждал, о чем грезил наяву и во сне уж много месяцев и чего долго еще не чаял получить. Он протер глазки, сам себе не веря, потом миготом вскочил с постели и дрожащими от радостного вол-

нения пальцами принялся ощупывать все эти яркие, веселые вещицы, на которых от его трепетного прикосновения дрожали мишура и блески. Тут были трико, как раз по мерке его маленького тельца, пышные штанишки небесно-голубого цвета, расшитые серебряными звездами, и пара крохотных башмачков с меховой опушкой.

Ребенок ощущивал, выворачивал, рассматривал все эти наряды и поочередно целовал их. Потом, вдруг, схватил их все под мышку и бросился будить мать, чтоб она ему надела это «красивое платье». Степанида, сама раздетая, сидя на постели, неторопливо одевала его, по временам останавливаясь, приглядываясь и любуясь им, как всякая мать, которая, надевая на своего любимца новый наряд, находит под ним нового мальчика, которого хочется любить еще крепче. Когда Нелло облекся, наконец, в свой новый костюм, получилась самая очаровательная миниатюра ярмарочного геркулеса, какую только можно представить.

Битая забавлялась тем, что слегка подвивала щипцами его русые волосы, уже начинавшие темнеть, и взбила ему на лбу маленькие рожки, придававшие плютовскому личику ребенка лукавство дьяволенка.

Трико было чуточку широко и морщило в боках и в коленях, но маленький акробат не замечал этого и, опустив глаза, стоял недвижно в благоговейном созерцании своей кокетливой особы; он был счастлив до того, что ему хотелось плакать, и он боялся шевельнуться, чтобы не испортить своего нового костюма.

Глава XI.

В первые разы, когда маленький акробат принимал участие в представлениях труппы, в своем новеньком трико, штанишках и ботинках, было поистине забавно смотреть, как этот мальчуган весело скакал по арене и вдруг останавливался, приседая, в внезапном приступе робости, детского страха, почти комического, при виде всей этой публики, глазевшей на него.

В таких случаях он незаметно подвигался к Джанни и



сконфуженно жался к нему, причем худенькие плечики его слегка вздрагивали, а рука, из приличия повернутая вверх ладонью, чесала затылок. Затем, успокоившись, этот кудрявый мальчик, с хрупкими руками и ногами, с такой непринужденностью, как будто гимнастика сама рождает позы античных статуй, скрещивал руки на груди, и, выставив одну ногу вперед, а другой опираясь только на большой палец, с приподнятой пяткой, казался в своей неподвижности статуэткой Отдыха, случайно попавшей сюда из какого-нибудь музея.

Но этот покой и неподвижность длились не дольше одного мгновения. Вскоре Нелло уже снова прыгал вместе с другими,—поминутно, как будто это была заправская работа, подбегая к барьеру, чтобы вытереть себе лицо лежавшим на нем платком. Он хватался за одну из подпорок, по которым брат его взбирался на трапецию, пытался вытянуться в воздухе горизонтально, и тотчас же летел на горку желтого песку у подножья мачты и наполовину зарывался в ней; но миг спустя, не унывая, уже шел по арене на руках, проделывая всевозможные прыжки и выверты и, казалось, рискуя сломать себе спину. Эти маленькие «отсебятины», не входившие в программу, эти свои маленькие штучки и фокусы, часто не удававшиеся, Нелло проделывал с такой заразительной веселостью, с таким увлечением, как будто он просто играл, и глаза все время смеялись, хотя и были влажны от волнения, и детские ручки, грациозно округленные, презабавно посылали воздушные поцелуи в благодарность за рукоплескания; и при этом хорошенькое личико и вся фигурка маленького акробата были преисполнены отваги, решимости, чего-то почти героического. Но, окончив свой номер, он тотчас же, со всех ног кидался к Джанни, чтобы тот, в награду, ласково провел рукой по его волосам; а порой старший брат поднимал его на ладони головою вниз, и в течение секунды держал таким образом на весу качающееся детское тело и еще гибкий позвоночник.

Глава XII.

Годы шли своей чередой, а труппа Бескапе, все в том же составе женщин и мужчин, все кочевала по Франции, заглядывая в обитаемые места лишь для того, чтобы дать представление и вновь разбить свой лагерь под кровом неба, возле своих повозок.

Однажды, стоянка ее приходилась во Фландрии, у подножия черного холма, сложенного из шлака и золы от каменного угля, близ сонной реки, среди плоского пейзажа, сжатого со всех сторон высокими кирпичными постройками, с дымящимися высокими трубами.

В другой раз это было в Альзасе, в развалинах старого замка, вновь захваченных в полон природою, среди стен, обвитых плющем и дикой гвоздикой, и цветов, растущих только на развалинах.

Побывали они и в Нормандии, которая показалась им сплошным фруктовым садом, и ночевали под яблонями, близ фермы с крышею, поросшей мохом, на берегу ручейка, журча протекавшего меж высокими травами пастбища.

Заглянули и в Бретань, на берег, усыпанный валунами, к серым утесам, с расстилающейся перед ними черной пустыней океана.

Побывали и в Лотарингии, где ночевали на опушке леса, на месте заброшенной угольной ямы, под стук топоров на дальних порубках, неподалеку от пещеры, откуда в ночь под Рождество выезжает «Дикая охота», во главе которой скачет ловчий в огненно-красном полукафтани.

Приводилось им ночевать и в Турени, близ Луары, у запруды, к которой уступами сбегали веселые домики, обнесенные виноградниками, с садами, в которых шпалерами зрели лучшие в целом мире плоды.

Располагались они на стоянку и в Дофинэ, среди соснового бора, близ лесопилни, еле видной в пене больших и малых каскадов, в которых резвились форели.

В Оверни они дивились пропастям и безднам, деревьям, обезглавленным ураганом, и жутко вздрагивали от завывания бури и резкого клекота коршунов.

В Провансе они ночевали под оградою, с углом,

ущербленным мощным ростом огромного олеандра, истерченной ползучим бегом ящериц, под звездистой сенью винограда, а на горизонте высилась над ними розоватая гора с мраморной виллой на хребте.

Труппу Бескапе видели расположившейся на ночлег и в Беррийских лощинах, и у придорожного холма с крестом на вершине, в Анжу; и собирающей каштаны в одной из каштановых рощ Лиможского края; и на песчаных дюнах в Гаскони, и на крутых подъемах в гористом Франш-Конте; и шествующую пешком вдоль горного потока в Пиренеях; и, в пору уборки винограда, проходящую среди увенчанных виноградными листьями белых быков Лангедока.

И в условиях этой кочевой жизни, неустанно странствуя во всякую пору года по различным местностям, не похожим одна на другую, каждый из членов труппы видел перед собою простор, ясный свет небес, всегда дышал чистым воздухом, ветерками, доносившими запах вереска или сенокоса—каждый, утром и вечером, упиался вечно новым зрелищем рассвета и заката; тепшил слух свой, внимая неясным шумам земли, гармоническим вздохам сводов, нежным модуляциям ветерка в гнущихся тростниках;—и с острым наслаждением подставлял грудь свою ветру и буре, как бы участвуя в приступах гнева и битвах воздушной стихии,—и питался лесными ягодами, и утолял свою жажду из прозрачных источников;—и отдыхал в высокой траве, убаюканный птичьими песнями;—и в жаркий полдень прятал лицо в душистые травы, нагретые солнцем;—и, забавы ради, на минуту удерживал в руке какого-нибудь вольного лесного или полевого зверька;—и часами пребывал, по речению Шатобриана, «отверстым» пред голубоватой далью и хохотал, когда зайчик, становился на задние лапки на полевой меже под жаркими лучами лета; и грустил вместе с осенним лесом, ступая по опавшим листьям; и погружался в сладкое оцепенение уединенных грез, в смутную и пьянящую мечтательность первобытного человека, живущего в постоянном общении с природой; словом, всеми своими органами чувств, всеми, так сказать, порами своего тела, упиался тем, что Лист называл «цыганским самочувствием».

Глава XIII.

Случалось, что Степанида, словно самка зверя, уносящая своего детеныша, хоть он был уже и не маленький, неожиданно хватала на руки своего сына и бегом бежала с ним куда-нибудь в лес, в самую чащу, и, когда ничего уже не было кругом, кроме листьев и ветвей, клала его на землю, запыхавшись, тяжело дыша после быстрого бега. И здесь, вдаль от всех, в потайном местечке, припасенном для нее самой природой, еще вздрагивая и сшибко бьющимся сердцем, цыганка становилась на колени возле лежащего на траве Нелло и, упираясь руками в землю, вся подобравшись над ним, как животное, которое своим телом хочет пригреть детеныша, смотрела на него, не отрываясь, целуя его глазами, странным, волнуемым взглядом, который ребенок старался понять и не мог. И из уст матери, склоненной над своим любимцем-последышем, лились шопотом жалобные причитанья:

Бедный ты мой, любименький!

Бедный, голубчик мой!

Серденько мое бедное!

И долго-долго слезно причитала она над ним, среди лесного безмолвия, словно изливая жалобы наболевшего сердца. И в каждой почти ее фразе повторялось слово: «бедненький», которое матери-цыганки, вечно дрожащие за участь тех, кто им дорог, неизменно прибавляют к ласковости уменьшительных имен.

Глава XIV.

Давно уже, очень давно, здоровье матери Нелло подтачивал какой-то тайный недуг. Что это был за недуг, никто не знал, но Степанида, еще молодая, чахла на глазах у всех. Быть может, то была болезнь растений, пересаженных в иную почву и под чужое небо, под которым им не дано дожить до старости. Впрочем, цыганка ни на что не жаловалась, кроме того, что ей все холодно и она не может согреться; даже летом, она ежилась от нервной

дрожи и вябло куталась в теплые платки. Напрасно Битая варила для нее настой из трав, собранных по пути, уверяя, что это должно согреть ее; напрасно, когда трупна останавливалась в городах, муж убеждал ее сходить к доктору, цыганка упорно отказывалась, и видно было, что это раздражает ее. Она продолжала нести наряду с прочими тяготы кочевой жизни, но с каждым днем лицо ее делалось бледнее и глаза огромнее.

Однажды у нее не хватило силы досидеть за кассой у эстрады до конца представления. В другой раз она не встала утром, обещая встать на следующий день, но после того уже не вставала вовсе. Муж хотел было остановиться где-нибудь в гостинице и полечить ее, но она только властно-отрицательно качала головой, чертя ногтем против того места на подушке, где приходилась ее голова, большой четырехугольник—квадрат окна.

Окно пробили, и с этих пор взор больной, путешествовавшей, лежа в постели, мог наслаждаться картинами природы и пейзажами, сменявшимися на пути фургона.

Молчаливая, безмолвная, она никогда не разговаривала со своим бедным, старым мужем, который, с тех пор как она захворала, проводил все дни у ее постели, в ногах, сидя на старинном ларчике, где лежали его итальянские пантомимы, полный грусти, в которой было что-то тупоумное. И для других у цыганки не было слов; когда кто-нибудь подходил к ней, она не благоволила даже отвернуть голову от своего окошечка. Только близость ее маленького сына, в короткие минуты, когда резвого и эгоистического мальчика удавалось заставить посидеть немножко смирно у постели матери, имело власть оторвать ее от этого нескончаемого созерцания. Все время, пока он был с ней, не дотрагиваясь до него руками и устами, мать не сводила с него пристального взора, в котором горел пожирающий огонь.

Больную всячески старались как-нибудь развлечь или потешить: каждые два-три дня стирали занавесочки у ее окна, чтоб они всегда были чистые и беленькие; собирали для нее любимые лесные и полевые цветы и ставили в графин у изголовья; вся трупна в складчину купила ей пуховичек, обтянутый красивым алым шелком, такой теп-

лый; и это было единственное, за что она поблагодарила, с счастливой усмешкой дикарки на своем мраморно-бледном лице.

Повозка катилась дальше и дальше, а женщина все слабела, и голова ее скатывалась с подушки, и у нее не было сил самой положить ее на прежнее место, против окна.

Однажды, среди дня, ей стало так худо, что старик Бескапе велел распрягать, и трупна уже готовилась расположиться биваком среди поля, когда больная, почувствовав, что повозка остановилась, выговорила повелительно одно только слово на своем родном языке, цыганском, односложное, свистящее, как бич: «Вперед!» И повторяла его поминутно до тех пор, пока кибитка снова не тронулась с места.

Еще много дней блуждающий и в то же время пристальный взор цыганки, упорно отворачивавшейся от людей, не мог оторваться от окна, от смены картин, постепенно расплывавшихся вдаль, дробясь от тряски на плохо содержавшихся проселочных дорогах.

Уже помутившийся взор умирающей не мог расстаться с бесконечными далями, лесными чащами, склонами, позлащенными солнцем, с зеленою дерев и текущей лазурью рек; с чистым светом, падающим с неба на землю... потому что Степанида была та самая женщина, которая, однажды, когда ее вызвали свидетельницей в суд, отвернулась от креста и Евангелия и, подойдя к раскрытому окну, сказала: «Между небом и землей, обещаю открыть мое сердце и сказать всю правду». И в своей агонии, до последнего момента своей кочевой жизни, она хотела, чтобы над ней был этот свет между небом и землей.

Однажды утром кибитка остановилась около маленькой церкви в Бри, со всех сторон окруженной лесами,—в ней перестраивали боковой придел. В лучах восходящего солнца блестела, как ниша декорации, золоченая бумага, которою были оклеены уцелевшие хоры; на полпути между рыжеватыми головками каменщиков, перепачканных известью, и старыми гробами, выглядывавшими из-под рассеявшихся плит, по лесам, в свете утренней зари,

пробирался долговязый кюре, в круглой шляпе, обвитой траурным крепом, в бесконечно длинной черной рясе, побелевшей у карманов, с грязным, неделю небритым лицом, с крючковатым носом, с зоркими светлыми глазами. В это утро, в тот самый момент, как повозка тронулась в путь после ночлега, Степанида вдруг отвернулась от окна и в каком-то яростном умилении остановила долгий взор на своем маленьком любимце. Потом, без единого слова, без единой ласки или поцелуя, взяла ручку Нелло и вложила ее в руку старшего брата, и ее уже холодеющие пальцы соединили руки братьев в пожатии, которого и смерть не разжала.

Глава XV.

Доверие, глубокая, почти религиозная вера, с какою дети иногда относятся к своим старшим братьям и сестрам, самозабвенное преклонение перед существом одной с ними крови, ставшим типом и идеалом, которому они втайне любовно подражают, работая над собой, чтобы пересоздать себя по этому образцу в малом масштабе, — таковы были чувства, питаемые Нелло к своему брату Джанни, но в них было еще что-то, более страстное, восторженное, фанатическое, чем у других подростков. Для него только то и было хорошо, что делал старший брат; только то было правдиво и достойно веры, что он слышал от Джанни; и, когда старший говорил, младший слушал так, что над бровями у него набегали две шишки, как это бывает у детей, когда они слушают особенно внимательно и вдумчиво. У него был на все один ответ: «Джанни сказал», и он считал, что и для всех слово Джанни должно быть свято. Ибо он, Нелло, верил в Джанни безгранично.

Однажды, когда его поколотил мальчишка акробат из соседнего балагана, старший и более сильный брат сказал ему: «А ты вот что сделай: возьми вот эту гирьку, зажми ее в руке, подойди к нему и ударь его кулаком по переносице, и он упадет». На другой же день, Нелло зажал в руке гирьку и ударом кулака опрокинул наземь своего пресле-

дователя. Точно так же он ударил бы и Рабастана, если бы брат указал ему на Геркулеса, вместо мальчишки-акробата. И так он поступал во всех случаях. В другой раз, Джанни, расшутившись, что с ним бывало редко, стал дразнить братишку, что он, будто бы, расковал Ларифлетту. И хотя Нелло был почти уверен, что собак не подковывают, серьезность слов старшего брата поколебала его убеждение, и он сначала долго спорил, но, в конце концов, стал осматривать лапы пуделя, ища на них следов гвоздей. Все потешались над его легковерием, но Нелло, продолжая осмотр, упрямо повторял: «Джанни сказал»...

И уж Джанни своего он никому не позволял трогать. Однажды Нелло вернулся весь в слезах и, когда брат стал расспрашивать, что его так огорчило, мальчик, рыдая, ответил, что он слышал, как про него, Джанни, говорили гадости. Джанни настаивал, чтоб он повторил, что именно было сказано, и ротик Нелло, передавая бранные слова, судорожно кривился от обиды и гнева.

Когда Нелло возвращался откуда-нибудь, первым словом его было: «Джанни дома?» Он как будто жить не мог без старшего брата.

В цирке он все время путался под ногами у Джанни, силясь принять хотя бы самое крохотное участие во всем, что делал старший брат, и, вынуждая того ежеминутно отталкивать его, тихонько отстранять его рукой. В остальное время, когда брат был возле, мальчик не сводил с него глаз, глядя на него долгим, как бы остановившимся взором, которым у детей выражается симпатия и восхищение, замирая в этом созерцании, на миг скованшем даже резвость детства. Когда же Джанни не было, а Нелло что-нибудь поражало, или увлекало, ребенок, стремившийся всем делиться с братом, не мог удержаться и говорил первому, кто попадался ему на глаза: «Надо будет сказать об этом Джанни».

Старший брат занимал такое огромное место в мыслях младшего, что даже в сонных грезах Нелло никогда ничего не делал один, а всегда все вместе с братом.

Смерть Степаниды еще больше слила воедино, в часы

дня и ночи, существование обоих братьев, и теперь, когда Джанни спал в фургоне, Нелло обрел новое великое счастье—по утрам будить его веселыми шалостями и ласками и укладываться на минутку рядом с ним, как любуя забираться к матери и большие уже мальчуганы.

На вечерних и полуденных привалах Джанни учил младшего брата читать по отцовским либретто к пантомимам, а иной раз и играть на скрипке; ребенок, с цыганской кровью в жилах, скоро овладел инструментом и играл на нем, как настоящий маленький виртуоз степей и лесов.

Глава XVI.

Томмазо Бескапе, после смерти Степаниды, как-то странно ушел в себя и целые дни просиживал на своем ларце с пантомимами, возле жениной кровати; а затем, в одно прекрасное утро, решительно отказался встать, и с тех пор проводил все свое время на этом супружеском ложе, как будто счастливый уж тем, что в подушках и одеялах он находил словно отпечаток любимого тела, как будто оживавшего несколько от влажного тепла другой жизни.—Бедняга, на старости лет впавший в детство, развлекался лишь тем, что разглядывал свою гусарскую куртку, разложенную на одеяле, и ежедневно требовал, чтоб ее обшили новым серебряным галуном.

Глава XVII.

Болезнь отца принудила Джанни взять на себя заведывание труппой. Но он был слишком молод для директора, и мужчины, привыкшие смотреть на него, как на ребенка, не признавали его авторитета. Пока была жива мать и отец его еще не выжил из ума, эта чета умела справляться со своею непокорною труппой, примиряя отдельных ее членов, подавляя вспышки ненависти, злобы, зависти у этих людей, от природы склонных относиться друг к другу враждебно. Цыганка, с необычным

своим обликом, скупая на слова, но спокойно властная, умевшая приказывать и звуком голоса, и серьезными глубокими глазами, обладала каким-то загадочным умением подчинять их, и, когда она отдавала приказание, никто не смел ослушаться. А там, где Степанида молчала, муж ее пускал в ход свою дипломатию старого хитрого итальянца.

Труппу свою он знал, как свои пять пальцев, каждому умел польстить и потешить его, выбрав при нем другого, которого тот не жаловал, через каждые два слова вставлял *miu sa go* и, сыпля туманными обещаниями, сулящими золотые горы, и прибаутками, почерпнутыми из собственного репертуара, папа Бескапе умел добиться всего, чего хотел, и оттягивал до бесконечности удовлетворение требований своих артистов.

Джанни был не в отца. Он не умел обещать; когда он чего-нибудь хотел, а его не слушались, он раздражался, посылал ко всем чертям и—тотчас же отказывался от своего требования. Не хватало у него терпения и на то, чтобы мирить и улаживать недоразумения; он не давал себе труда во время разнять паяца и Геркулеса, и взаимная вражда их, все обостряясь, перешла, наконец, в открытую войну. Многие подробности в его ремесле были ему докучны и неприятны, и он не брался, как его отец, за составление анонсов, которые старый Бескапе, благодаря своей удивительной способности к языкам, в маленьких захолустных городках составлял на местном говоре, что—главным образом, на юге Франции,—приносило ему обильнейшие сборы и бесило его французских коллег, которым языки, вообще, не давались.

Не годился он ничуть и для роли администратора, а Битая, которой он поручил вести хозяйство труппы, сама была беспорядочна и не обладала находчивым умом его матери.

Помимо того, люди, с которыми Джанни жил, не были, хотя он и был добрым товарищем, всегда готовым услужить всем и каждому, к нему привязаны; они как-то смутно злобствовали на него, предполагая, что он держит

в уме что-то такое, чего не говорит им, и предчувствуя, что молодой директор не вечно будет держать трупшу, сами уже начинали подумывать о том, как бы пристроиться в другом месте.

Глава XVIII.

Руки Джанни, даже в то время, когда он отдыхал, никогда не оставались праздными и беспрестанно что-то вокруг нащупывали.

Эти руки, как бы невольно и почти бессознательно, схватывали самые разнообразные предметы, какие только могли достать, и ставили их на горлышко ребром, на ту или другую точку их поверхности, на которой они, казалось бы, не могли держаться, напрасно пытаясь заставить их некоторое время стоять прямо; и всегда, и везде эти руки неустанно и машинально трудились, нарушая законы притяжения и равновесия, противоборствуя исконному навыку вещей упираться на ножки или на свое дно.

Нередко также он часами вертел в руках, поворачивая во все стороны какую-нибудь утварь, стол или стул, и лицо у него в это время было такое вдумчивое, с застывшим на нем вопросом, что маленький братишка его, в конце концов, спрашивал:

— Скажи на милость, Джанни, чего ты от него хочешь—от этого стола?

— Я ищу.

— Чего ты ищешь?

— А! Еслиб я знал, чего!..

И Джанни прибавлял:

— Нет, оно точно заколдованное—мне ни за что не найти.

— Чего не найти? Да скажи же, Джанни; ну, голубчик, ну, прошу тебя, скажи мне!—молил Нелло, жалобно и плаксиво, как маленький.

— Подрости еще немного... теперь тебе не понять... Не беспокойся, братик, я ищу и для тебя.

С этими словами Джанни, однажды, поставив на ножки небольшой стол, который он держал на руках, вскочил на него и крикнул брату:

— Внимание! Братишка... ты видишь топорик, который лежат там, в углу? Возьми его... Так... Хорошо... Теперь, ударь топором изо всех сил по этой ножке—да, да, по правой.

Ножка сломалась, но Джанни продолжал стоять на трехногом столе.

— Теперь, рубани по левой.

Левая ножка стола тоже сломалась, но Джанни каким-то чудом ухитрился сохранять равновесие, стоя на столе, у которого остались теперь только две ножки из четырех.

— А! А! А! А!—восклидал Джанни, типичными возгласами акробата.—Вот где зарыта собака... ну-ка, братишка, теперь попробуем перерубить третью ножку.

— Третью? — немного нерешительно переспросил Нелло.

— Да, третью, но эту не сразу, понемножку, легкими ударами... только под конец, когда она будет уже надрублена, ударь посильней, так, чтоб она отлетела в сторону.

Говоря это в то время, как мальчик уже надрубал третью ножку, Джанни передвинулся на крайний угол стола, стоя на единственной крепкой ножке.

Отлетел и третий кусок дерева, а столик все стоял горизонтально на своей единственной ноге, крепко прижатый большими пальцами ног Джанни, и тело его, раскачивавшееся из стороны в сторону, так что оно оказывалось не только над столом, но и вне стола, опи-сывало в воздухе как бы округлую ручку вазы.

— Живей! Прыгай мне на...—крикнул Джанни брату. Но, не успев он окончить фразы, как и стол, и эквилибрист уже лежали на земле.

Иной раз Джанни надолго застывал в неподвижной позе, стоя одним коленом на земле и опираясь сложенными руками на другое—и маленький братишка, проникнутый почтением к этой неподвижности и углубленному созерцанию, тихонько придвигался к нему, но не смел заговорить с ним и, заявляя о своем присутствии, только ласково, как котенок, терся об него. Джанни, не оборачиваясь, клал ему руку на голову, и мягко нажи-

мая, усаживал братишку рядом с собой, не снимая руки с его головы и продолжая смотреть в одну точку, пока, наконец, схватив мальчика за руки, не откидывался назад, с горечью говоря:—Нет, это невозможно!

И в такие минуты, катаясь вместе с ним по траве, как большая собака с маленькой, Джанни невольно изливал вслух свою душу, говоря с Нелло, но не желая, чтоб тот понял его: «Ах, братик!.. Один трюк... один только, но свой собственный... новый... самостоятельно придуманный... понимаешь: свой собственный... для Парижа... который бы соединил на афише имена обоих братьев!»... Внезапно, он обрывал свою речь на полуслове и, словно стараясь, чтобы Нелло скорее забыл все слышанное, хватал братишку и скакал с ним, и бегал, и кувыркался и, в этом нескончаемом вихре ребенок, то и дело чувствовал на своем теле ласковые касания его рук, которые были одновременно и отцовскими, и братскими.

Глава XIX.

«Маренготта» продолжала кочевать по Франции, и труппа — давать представления под руководством сына, вместо отца, но прежнего успеха и прежних сборов уже не было. Да и самая программа представлений сократилась, сведясь к упражнениям Геркулеса с гириями, к хождению Битой по проволоке, к упражнениям на трапеции и эквилибристике Джанни, к прыжкам и кувырканию маленького Нелло; она уж не заканчивалась забавной пантомимой, которой публика маленьких городков, лишенных театра, радовалась, как спектаклю. Притом же, артисты труппы, стареясь, утрачивали подьем, священный огонь, скрашивавший ремесло. Паяц стал скуп на шутки, Геркулес, которого теперь скудней кормили, стал еще ленивей, еще скупее на движения. Тромбонист, захворавший астмой, еле-еле дул теперь в свою трубу. И литавры дремали и медные тарелки как-то хрипло квакали. Только Битая из кожи лезла с озлобленной преданностью, приведенная в какое-то бешенство упорным невезеньем братьев.

Годы шли за годами. Умер старик Бескапе, и дело его совсем захирело, с артистами день ото дня становилось труднее справляться. Киприан Мюге, тромбонист, хворавший астмой, с тех пор, как околела Ларифлетта, пил запоем. Паяц изводил товарищей и доставлял Джанни кучу неприятностей из-за срезанных веток и опустошенных ивовых зарослей на пути трупны. Дело в том, что в свободное время паяц плел корзины и вырезывал палки и трубки, которые затем продавал в антрактах между представлениями. Делал он это артистически, как будто обучался этому на каторге.

Еще недавно Джанни имел большую неприятность с владельцем «Березняка», помещиком, который сам занимался всякими гимнастическими упражнениями и, заинтересовавшись акробатами, приютил их на три дня у себя в усадьбе. А после отъезда их заметил, что с двух его лучших берез ободрана кора—паяцом на табакерки.

В душе юного директора все время шла борьба между его врожденной честностью и нежеланием расстаться со старым товарищем, возле которого прошло все его детство; «скоморошество» каждый день доставляло Джанни массу неприятностей и огорчений; а тут еще, вдобавок, случилось нечто, сильно подорвавшее и сборы, и самый престиж цирка Бескапе. Наибольший доход кассе, особенно в последнее время, доставлял Геркулес. Как только в какой-нибудь деревне или городишке появлялся цирковой атлет, сплошь и рядом у местных силачей являлось искушение померяться с ним силой. В таких случаях, силач почти всегда оказывавшийся мельником, и администрация цирка бились об заклад: кто кого «положит», причем пари было не малое: 100, 200, даже 300 франков. Деньги вносил наличными противник Геркулеса, или один или же отвечали в складчину, из патриотизма, его односельчане, гордившиеся его силой и заинтересованные в его победе. И Геркулес всегда выигрывал—не потому, чтобы он был сильнее всех, с кем он боролся, но потому, что на его стороне была привычка, знание всех ухищрений и всех секретов борьбы. И вот, в один прекрасный день,

«непобедимый» Рабастан был положен на обе лопатки мельником из Брессы,—хотя общее убеждение было таково, что мельнику «не выстоять» против атлета. И вот из среды ошеломленной, трепещущей от унижения, взволнованной труппы раздался нагло-насмешливый голос паяца, бросившего Геркулесу, едва оправившемуся от поражения, обвинение в том, что он «слишком бегаёт за грязной бабой, что в ночь перед борьбой»... Оглушительная оплеуха сбила с ног паяца и принудила его умолкнуть.

Паяц молвил правду. Действительно, Геркулес, дотоле влюбленный лишь в яства, ощутил вдруг нежность к некоей Деянире, которую таскал с собою и которой отдавал немалую часть своих сил.

Печальнее всего и для Геркулеса и для труппы было то, что это поражение совершенно убило в атлете веру в себя и сознание своего превосходства. После того, он боролся еще два-три раза, и все неудачно, как будто сам давая над собою перевес своему противнику; и с тех пор, отчаявшись в победе и пребывая в грустной уверенности, что кто-то его сглазил и «заговорил» всю силу его мускулов, он уже не решался бороться даже с явно слабосильными, и никакими уговорами нельзя было заставить его выйти на борьбу, хотя бы с отпусным солдатом.

Глава XX.

Когда Нелло был еще совсем малюткой, Джанни, чтоб позабавить его, а также поощрить и развить в нем вкус к ремеслу и дух соревнования, позволил ему принимать участие в некоторых своих номерах. Позже, он почувствовал в младшем брате такое горячее желание иметь свою долю во всем, что он исполнял сам, что последовательно ввел его во все свои упражнения; и теперь, когда Нелло сам стал юношей, Джанни так привык работать вместе с ним, что почувствовал бы себя не по себе, еслиб ему пришлось выступать одному. Теперь, когда Джанни жонглировал, он сажал Нелло себе на плечи, и

эти два жонглера, один над другим, составлявшие как бы одно целое, перебрасываясь шарами, затевали неожиданные и причудливые игры, чередуя их, сплетая и расплетая их, или противопоставляя друг другу. На трапеции Нелло повторял все, что делал его старший брат, вращаясь в орбите Джанни, то захваченный быстротой его движения, то издали следя за его медлительным, замирающим трепетанием в воздухе.

В новых номерах, разученных Джанни специально для того, чтоб дать возможность выступить на сцене «маленькому гимнасту», старший, лежа на спине, кружил в воздухе младшим, подбрасывал его, ловил, опять подбрасывал на ногах, и ступни его в эти минуты становились цепкими и ловкими, как руки. Они исполняли также двойные номера, в которых так красиво сочетались сила, гибкость, ловкость обоих братьев, номера, где требовалось такое полное слияние, что, еслиб только на единый миг, порвалась невидимая нить между двумя телами, произошло бы малейшее расхождение, это могло грозить серьезнейшей опасностью одному, или другому, а иной раз и обоим вместе. Но между братьями установилось такое прочное и взаимное телесное чутье, что согласование воли с сгибающими, разгибающими мышцами и сухожилиями их, порождающее движение,—это взаимодействие разума и тела, казалось, было единым для обоих.

От этих постоянных соприкосновений и сокровенного общения двух тел, при исполнении какого-нибудь трудного задания, от этих касаний, полных отеческой и сыновней ласки, от этих вопросов, задаваемых мускулом другому мускулу и ответов нерва нерву: «go!», от этой постоянной тревоги за другого и напряженного, чуткого внимания, и ежеминутной отдачи своей жизни во власть другого, от этого постоянного и сладостного слияния двух тел в единой смертельной опасности, рождалось доверие нравственное, еще больше упрочившее естественные узы, соединявшие Джанни и Нелло, еще усиливавшее врожденную склонность братьев любить друг друга.

Глава XXI.

Цирк Бескапе давал порядком убыточные представления в Шалоне-на-Марне, когда, однажды вечером, Джанни, заканчивая один из своих номеров, услышал, как его окликнул кто-то из зрителей.

Он узнал собрата по профессии, с которым он сталкивался почти каждый год, во время турнэ, совершаемых обоими по Франции. Это был маленький человечек, коренастый, приземистый, с узловатыми руками и ногами, по прозвищу З а ш и т ы й. Без балагана, без оркестра, он начал свою карьеру тем, что, среди белого дня, прямо на площади, поднимал десять человек в тележке, которую он ставил себе на спину. Дела его пошли успешно, и тележка скоро была заменена купленным по случаю «брэком», обитым старой, выцветшей кожей, добытой за бесценок у кожевника.

«Брэк», в свою очередь, сменила античная колесница, золоченая колесница, в которой Зашитый и поднимал теперь желающих.

Зашитому, повидимому, везло. Он женился на «фокуснице», и, как уверяли, зарабатывал много денег своей колесницей и карточными фокусами своей супруги; жили они, ни в чем себе не отказывая, останавливались в гостиницах, заказывали к обеду дичь и брали вина целыми бутылками.

Маленький человечек жаловался Джанни, что он приехал в город слишком поздно для того, чтоб ставить свой барак, сожалел, что у того в цирке так мало публики, сетовал, что погода все лето стояла гнуснейшая и что сборы вообще пошли мизерные—и вдруг прервал свои жалобы совершенно неожиданной фразой:

— Послушай-ка, малый, ты, говорят, не прочь отделаться от своей компании?—И, так как Джанни не отвечал ни «да», ни «нет», З а ш и т ы й продолжал: — Ты зайди ко мне завтра в «Красную шляпу», прикинем вместе—может, что и придумаем.

Глава XXII.

Джанни застал Зашитого еще за столом в гостиной «Под Красной Шляпой». По обе стороны его прибора стояло по две пустых бутылки, а перед ним пятая, начатая. На широком лице его, с ярко красными пятнами возле ушей, с бровями, похожими на кустики шерсти белого кролика, и рябом, словно «на нем горох молотили», напускная веселость низкопробного шута смешивалась с мелочным лукавством, светящимся в ясных глазах нормандского крестьянина.

— Наконец-то, пожаловал... ну, бери стул и стакан, присаживайся... Так папаша-то Бескапе репку закопал... Я любил эту старую обезьяну... жалко, что мне не удалось проводить его до последней стоянки... Ах! и продувная же была это бестия!.. вот умел водить за нос дураков... Да-с, молодой человек, я тебе скажу: молодчага у тебя был папаша... теперь такого и не сыщешь... Перестали выплывать... Пей же, поросенок... Так сколько ты хочешь за свою колымагу-то?

— За все три тысячи франков. З а ш и т ы й.

— Три тысячи франков наличными!?! Да ты смеешься надо мной, голубчик? Ты что же, думаешь, что я теперь в сотнях и тысячах—потому только, что вместо простой тележки у меня теперь золоченая?.. Но, ведь, ты не хуже моего знаешь: дела идут теперь совсем не так, как в былое время, когда они шли... но что поделаешь! Надо быть философом... разные времена бывают... и деньгу надо брать, сколько ее перепадает... И потом, видишь ли, милый, с меня достаточно того, что у меня есть, или, вернее, то, чего у меня нет... я и этим доволен... А я, ведь, надеялся, что мне придется раскошелиться всего на тысячу двести... и то ты мне еще лапы будешь целовать... Пей же, свиненок!

— Нет, З а ш и т ы й, с трех тысяч я гроша не скину. Хотите—берите, хотите—нет.

— Да что это, ей-Богу! Да ты это серьезно говоришь?

— Послушайте, З а ш и т ы й, ведь, вы же сами знаете: у меня две повозки, пара лошадей, балаган и мало ли еще всякого скарба...

— Ну, уж и лошади! Из одной песок сыплется; у другой от натуги даже хвост потест... а «Маренготта» вся расхлябанная, дребезжит на ходу... да разве ты не знаешь, что теперь в Париже можно купить такую, и еще много лучше, новую, всю расписанную первыми парижскими живописцами, за тысячу пятьсот... ты думаешь, она дорого стоит, твоя другая дурацкая кибитка?.. А балаган. Я к нему вчера пригляделся... по-христиански говорю тебе: я не уверен, что там есть еще что-нибудь, кроме дыр... Пей, свинья.

— Послушайте, Зашитый, если вам это не подходит, я уверен, что у меня купит все Бикебуа.

— Бикебуа... Эта бабица, которая женила на себе косолопного мужика, по прозвищу «Поверни налево»?— проклятая мошенница, которая одно время показывала женщину с кабаньей головой... а та оказалась медведицей, и ее по утрам брили всю сплошь... так это она тебя смущает?.. Напрасно. Ты ее остерегайся, милый,—она в долгу, как в шелку... да, миленький, к ней что ни день—ипасть пристав с протестом векселей... Пей, поросенок.

— Если вы уверены, что у нее денег нет, я обращусь к дяде Пизарру.

И Джанни поднялся с места.

— К дяде Пизарру?.. да он не под судом ли за совращение... Ну, вот, теперь ты скажешь, что я злословлю о товарищах... видишь ли, это оттого, что Зашитого не в чем упрекнуть... комар носа не подточит... Но, однако, и хитрец же ты!.. Все знаешь... словно турнэйская граница, через которую и мышь не перебежит, без того, чтоб у нее не сосчитали каждый волосок... Ах, да, кстати, я видал брательника-то твоего... ничего, молодчага малец, хорошо работает... весь гнется, как лоза... и бедра, и спина—положительно хорошо... этот пробьется, выйдет в люди... на руках добежит... Пей же, свинтус.

— Спасибо, не хочется... Так вы решительно не хотите взять за три тысячи?

— Да ты бы хоть сколько-нибудь уважил старого приятеля... этакий ведь бесчувственный!.. Ну, что же, раз уж тебя на эту удочку не поймашь... так и быть, чтобы долго не торговаться... даю тебе две тысячи.

— Нет, Защи́тый, вы отлично знаете, что мое дело стоит больше трех тысяч франков... Ну, извольте... я отдам вам за две с половиной, с условием, что вы мне заплатите наличными и возьмете всех моих артистов.

— Всех?... Да это все равно, что предложить мне потеряться задом о розовый куст... да Господь с тобой! на кой мне чорт вся эта рухлядь?... У твоего тромбониста духу, что у цыпленка... атлет твой годен разве что в разносчики... а уж Кошегрю! этот гримасник, годный только на то, чтоб шпиговать телятину—он и собаки то не рассмешит... а твоя канатная плясунья вся развинчена, как пара старых щипцов... и при этом драная кошка—такая дохлая, что дивишься, как это она еще не окачурилась.

— Ну, полноте, Защи́тый, давно ли вы сами пробовали переманить ее от меня. Я, ведь, знаю.

— Ах ты, чортов сын!.. А каким простачком прикидывается!.. Он еще похитрей папаши будет... И при этом не расходует на слова... Да, голубчик, положительно, мне с тобой не совладать... Придется доставать карманную посудину.

И Защи́тый стал расстегивать охватывавший его бедра широкий кожаный пояс, какие носят прасолы.

— Ну, вот тебе твои две тысячи двести.

— Я сказал: две с половиной и, вдобавок, ангажемент всей моей труппе.

— Да уж ладно, уж этот треклятый Бескане чего захочет, так настоит на своем.

— Вы мне заплатите деньги, Защи́тый, когда я сдам вам товар... И приходите скорее принимать его, так как я уезжаю.

— Так вдруг, сию минуту?... что за глупости!.. Ты что-ж, другую труппу собираешь?

— Нет! будет уж с меня этой жизни... достаточно.

— Хочешь переменить профессию?... Может, в попы собрался?

— Там видно будет.

— Так, значит, по рукам... ну, так ступай вперед... я сейчас... только еще шестую волю в себя... это уж у меня такая мерка.

Глава XXIII.

Вернувшись, Джанни нашел у дверей балагана Битую, поджидавшую его. Он уже давно заметил, что ей хочется о чем-то переговорить с ним—несколько раз она начинала и, видимо, слова застревали у нее во рту.

— Это вы, мосе Джанни? Как вы сегодня долго... а я хотела...—Она запнулась, потом смущенно продолжала:— В двух словах, вот в чем дело: теперь, говорят, любят диких женщин... это делает сборы... Ну, я и расспросила, как это делается... Не велика хитрость—есть сырых цыплят... я ведь не гордячка... для вас я готова... и сигары тоже...

Джанни смотрел на нее. Битая покраснела, и сквозь ее темную кожу проступила краска—признание в нежном чувстве к своему юному директору, затаенном на дне души. Бедная женщина, в своей влюбленной преданности, выискивая какой-нибудь способ поправить дела цирка Бескапе, заставила умолкнуть свою гордость «примадонны»—танцовщицы на проволоке—и, в своем великодушном самоотречении, готова была спуститься на последнюю, унижайшую ступень своей профессии—изображение дикой женщины, которая ест сырое мясо и живых кур.

— Спасибо тебе, моя бедняжка,—сказал Джанни, обнимая ее со слезами на глазах,—ты, действительно,любишь нас обоих... но теперь уж этого не нужно—я продал свою фуру, и теперь у вас хозяином будет Заши-тый... В сущности, все остается по старому, кроме директора... но, если когда-нибудь тебе понадобится десять франков, а у кого-нибудь из братьев Бескапе будет хоть один золотой в кармане, вспомни, что существует почта... Ну, полно, не надо расстраиваться... Уложи-ка мои и братины пожитки в деревянный сундук, и поскорее, так как мы едем сегодня же, сейчас же... а затем, я передам ключи Зашитому.

Час спустя, Джанни вернулся, взвалил сундук на спину и сказал Нелло, изумленному этим неожиданным отъездом:

— Ну, братишка, бери свою скрипку и айда на железную дорогу. Мы едем в Париж.

Пожав руки старым товарищам, оба удалились и, пройдя шагов двадцать, одновременно обернулись, чтобы взглянуть на фургон, как люди, которые продали отцовский дом и, прежде чем навек расстаться с ним, долгим взглядом прощаются со стенами, в которых они родились и умерли их близкие.

Глава XXIV.

В вагоне старший брат говорил младшему:

— Ведь и тебе, братишка, было не так уже занятно все время ездить по захолустным городам и представлять на ярмарках?

— Мне?—просто сказал Нелло.—Еслиб ты остался, остался бы и я... ты уезжаешь—я еду с тобой... еслиб ты поехал в Индию, и я бы за тобой поехал в Индию... и даже, еслиб я думал, что ты немного спятил... все равно поехал бы.

— Да, я это знаю: потому я и не считал нужным объяснять... а теперь скажу—дела наши были не блестящи... но я не из-за этого продал дело—у меня в голове есть планы... для нас обоих...

И Джанни рассеянно забарабанил пальцами по спинке деревянной скамьи третьего класса. И закончил:

— Итак, сегодня вечером, мы будем в Париже... завтра, я попробую добыть для нас ангажемент в цирк... а там, видно будет.

После этого Джанни скрылся в облака дыма своей трубки и больше уж до самого Парижа ничего не говорил. Нелло же, радуясь, как ребенок, перемене и гордый перспективой выступления в столичном цирке, не мог усидеть на месте, все время вертелся, болтал, высовывался из окна, на каждой станции выходил и возвращался, мешая дремать своим жирным, апоплексическим соседям-блужнякам.

Глава XXV.

С вокзала оба брата велели везти себя в небольшую гостиницу в улице Двух-Экю, где, как помнил Джанни, он несколько дней прожил с отцом, когда был еще совсем маленьким.

По лестнице с деревянными перилами они поднялись в пятый этаж, в крохотную комнатку, такую низкую и с таким неровным потолком, что, когда Джанни захотел сменить рубашку, ему пришлось сначала поискать такого места в комнате, где он мог бы вытянуть руки вверх.

Переодевшись, братья тотчас же вышли, пообедали в первом попавшемся винном погребе и отправились в улицу Монтестье, где купили себе каждый по паре брюк и пальто. Купили также шнурованные ботинки и фуражки.

Потом взяли извозчика, поехали в цирк, взяли места в первом ярусе и, с инстинктом привычных посетителей балаганов, поместились с левой стороны, у самого входа.

Они пришли рано—газ еще был прикручен, огромной розетки желтого песку посредине черной арены еще не касался каблук берейтора с длинным бичем в руке; и обоим братьям было прелюбопытно присматриваться ко всем деталям подготовки к представлению с участием лошадей и с трюками, поставленными на широкую ногу.

Публика собиралась; цирк понемногу наполнялся.

Вскоре один из шталмейстеров, узнавший в них братьев по профессии, по разным мелочам, всегда выдающим гимнастов и в штатском платье—по размерности и ритмичности движений, по гибким волнистым линиям торса, не стянутого жилетом, по манере скрещивать руки, придерживая локти ладонями—разговорился с ними, дал им нужные сведения, сказал, когда можно повидать директора цирка.

Началось представление.

Джанни внимательно присматривался и ничего не говорил.

Нелло поминутно вскрикивал: — Да, ведь, и мы это делаем!.. Ты бы мог это сделать?.. Дайте нам две недели сроку, и мы будем делать то же.

Они не сразу нашли свою гостиницу; Нелло, и лежа в постели, все время болтал без умолку; но Джанни объявил, что он очень устал, и уткнулся головою в стенку.

Глава XXVI.

На другой день Нелло, проснувшись, увидел, что брат сидит у окна, облокотившись на подоконник, курит трубку и так на что-то загляделся, что даже не слышал, как он, Нелло, соскочил с кровати и начал одеваться.

Заинтригованный, Нелло стал высматривать через плечо старшего брата, что бы могло так сосредоточить на себе внимание Джанни. Напротив, отделенная от них только двором в пятнадцать шагов ширины, высилась стена пятиэтажного дома, у подножья своего—цвета навоза, наверху—цвета сажи. На всем протяжении этой стены, из каждого этажа, вывешены были разные тряпки и всевозможные предметы, видимо, искавшие света и тепла в этой мрачной дыре. Внизу, над запертой еще толстыми железными засовами дверью какой-то лавчонки из гетто, нависал узкий, подгнивший деревянный балкончик, на котором, среди уцербленных почных горшков, торчал букет в жестянке из-под молока. На крыше балкончика, зеленоватой и мшистой, из решетчатых планок и старой плетенки, была построена, почти во всю ширину двора, огромная клетка для кроликов, мелькавших белыми пятнами на рыжевatom фоне между небом и землей.

Повыше, на окнах всех форм и стилей, словно пробиваемых случайно и по мере надобности, красовались защищенные веревочною сеткой от падения крохотные сачи, с блеклыми цветами в деревянных ящиках. Еще выше, к стене была подвешена большая плетеная корзина, в каких греют белье для ванны; корзину эту ее владелец преобразовал в клетку, где летала сорока. И, наконец, на самом верху, возле чердачного окошечка и же-

Гонкур. Братья Земганно.

лоба, сушилось на веревке ситцевое платье, белое, в розовом горошке.

Обозрев все это, изумленный взор Нелло скользнул обратно и встретился со взглядом Джанни, который, казалось, не замечал ничего из того, на что смотрел.

— О чем ты думаешь, Джанни?

— О том, что нам обоим надо ехать в Лондон.

— А цирк?

— Потерпи, дитя... Будет когда-нибудь и цирк, со временем.—И Джанни зашпал по крохотной, низкой каморке.—Когда мы с тобою вчера были в цирке, тебе не бросилось в глаза—ну, да, конечно, не бросилось то, что бросилось мне... все эти штуки, которые и мы с тобой проделываем, англичане делают их иначе... и лучше... Ах, эти англичане!.. удивительно красиво работают!.. вот бы у кого поучиться на месте... они берут не только силой, но и быстротой... быть может, мы тратим чересчур много мускульной энергии на приобретение гибкости... и, хлопоча об этом, утрачиваем быстроту сокращения мышц... И потом, не забавно ли?—вчера я, как будто вдруг, увидал и понял, чего нам не хватает в нашем ремесле... и что нам следовало бы приобрести. Понимаешь, глупыш?.. эти вчерашние... они делали зараз и то, что мы с тобою делаем, и то, что делал наш отец—ну да, тут гимнаст является вместе с тем и актером... И вот, в такой работе, если ты внесешь туда все твои милые ужимки... тут уж мы, братик, будем с тобою не прыгунами, а кой-чем получше...

Заметив, что лицо младшего брата вдруг омрачилось, Джанни прибавил:

— Ну, что же ты на это скажешь?

— Что ты прав, как и всегда, — со вздохом ответил Нелло.

Джанни посмотрел на него с волнением и нежностью, проявив их не словами, а едва приметным дрожанием пальцев, набивавших новую трубку.

Глава XXVII.

Англия—первая страна в Европе, которая попыталась внести дух остроумия в грубую материальность акробатических упражнений. Там гимнастика преобразилась в пантомиму; там бездушная выставка мускулов и нервов сменилась чем-то забавным, грустным, порой даже трагическим; там, гибкость тела, проворство, ловкость движений—все рассчитано на то, чтобы заставить зрителей смеяться, страшиться, грезить, словно в театре драматическом. В той же Великобритании неведомыми авторами, от которых сохранилось лишь несколько имен, относящихся к восемнадцатому веку, в выносках на полях расчетных книг цирка Эстлей, был создан новый вид сатирической комедии—нечто вроде обновленного итальянского фарса, в котором клоун, этот «деревенский дурачек», этот гимнаст-актер, соединял в себе Пьеро и Арлекина,—иронию обоих этих типов, брошенную между небом и землей,—гримасу белого, осыпанного мукою лица, словно растянутую и скользящую по всей мускулатуре его насмешливого тела.

И — факт, достойный внимания, — родина Гамлета изобрела это чисто английское искусство, а гений нации отметил его чертами своего характера, в котором флегма слилась с меланхолией, и в веселую сатиру внесла, если так можно выразиться, нотку комизма, пропитанного сплином.

Глава XXVIII.

В тот год, когда братья прибыли в Лондон, в Виктория-стрите было одно место, которое звалось «Руины». Это был огромный пустырь, образовавшийся вследствие того, что комиссия по усовершенствованию столицы распорядилась сломать триста—четырееста домов,—пустырь, усеянный обломками, где, рядом с уцелевшими стенами скрытых домов, виднелись фундаменты недостроенных новых,—заваленный мусором, щебнем, обломками штукатурки, устричными раковинами, битым стеклом и нечи-

столами,—заброшенный уголок столицы, уже начинавший зарастать сорной травой,—нечто вроде парижского пустыря Сен-Лазар. Эти «Руины» уже несколько лет как стали местом, куда сходились для встреч и упражнений на открытом воздухе все гимнасты, акробаты, «трапецисты», работавшие на подвижной или твердой трапеции, клоуны, жонглеры, канатные плясуны, эквилибристы не у дел,—словом, все, кто «родился в опилках» *) или мечтал жить в них:—школа, из которой вышли впоследствии Френк Беррингтон, Костелло, Джемми Ли, Билль Джо-одж, Джоэ Вельх, Альгамбра Джоэ. В особенности интересное зрелище представляли собой «Руины» вечером. Во тьме, царившей на этом поле разрушения, среди обломков стен, рисовавшихся черными, страшными силуэтами, меж кружащихся в воздухе сгнивших обрывков обоев, сорванных ветром, и разбегающихся в разные стороны стаями крыс,—на всем пространстве, какое только мог охватить взор сквозь сумерки и туман, при свете четырех огарков, воткнутых в землю, смутно рисовались среди трепетного бледного сияния тени человеческих тел, движущихся или летающих в воздухе.

В первые дни Джанни и Нелло только смотрели, как другие «работают», потом, недельку спустя, притащили свои орудия работы и собственные свечи и, повесив на косяк входной двери дома, от которого остался только фасад, маленькую трапецию, принялись упражняться, удивляя англичан.

Ближайшим соседом обоих французов был тощий, долговязый человек, с ногами точно из теста, и, вдобавок, чахоточный, упражнявшийся в пролезании через поперечные перекладины стула. Это был ирландец, по прозвищу Земляной Червяк; все тело у него было развинченное, все суставы вывихнуты, так что он мог закладывать ноги за плечи, обхватывая ими шею, как галстуком, и, превратившись, таким образом, в шар, кататься по земле и задом раздавливать косточку персика. Вскоре братья узнали от него, что в Англии директора цирков не сами при-

*) В английских цирках арену усыпают не песком, а древесными опилками. Отсюда выражение: «родиться в опилках», а также пословица, гласящая, что для старого клоуна запах опилок—то же, что запах смолы для моряка.

глашают артистов; что монополия всех ангажементов для трех соединенных королевств сосредоточена в руках всего только двух человек, имеющих жительство в Лондоне: м-ра Мэйнарда, который живет в Йорк-Род-Ламбет, и м-ра Робертса, живущего в Комптон-стрит. Кроме того, Земляной Червяк предупредил их, что эти господа имеют обыкновение при ангажементах удерживать в свою пользу пятнадцать процентов за комиссию.

И вот, однажды утром, Джанни и Нелло отправились к м-ру Робертсу. На ступеньках лестницы, кормилицы, простоволосые, в расстегнутых кофтах, кормили грудью младенцев, прислонившись головами к стене и покуривая длинные гнутые трубки.

Братьям пришлось ждать очереди в приемной, стены которой сверху донизу были увешаны вплотную фотографическими карточками в белых деревянных рамках всех знаменитостей цирков, гимнастических зал и кафешантанов Европы.

От фотографий братья переводили взгляд на людей, выходявших из комнаты, где заключались ангажементы; сидевшие около них называли этих людей по именам.

Вот Гассан Араб; вот папа Замезу в своей широкополой фетровой шляпе и плаще, цвета коринки, излюбленного цвета старых актеров; вот Санди, у которого в карманах еще звенят остатки золота, которым его забросали в Сан-Франциско и Мельбурне; Санди в своем знаменитом камзоле, на тюленьем меху, и ярко красном жилете; вот элегантный Берингтон; на этом черный бархатный сюртук, золотая цепь, идущая от петлички к боковому карману, на голове ухарски сдвинутая на бекрень тирольская шляпа с павлиньим пером; потом, какие-то неизвестные, прячущие половину лица в грязные шерстяные кашне,—и женщины, закутанные в кашемировые платки, напоминающие те, какими торговки овощами прикрывают тележки с салатом.

Наконец и они проникли в заветный кабинет. Робертс оказался маленьким человечком, с кожей, точно выдубленной, «носорожьей», и с золотыми кольцами в обоих ушах.

Джанни не успел закончить и первой фразы на сквернейшем английском языке, как Робертс прервал его:

— Отлично. Мне как раз нужна пара хороших гимнастов для Спрингторпа в Гулле... но я вас не знаю... где вы раньше служили?

Этого вопроса братья боялись больше всего, и Джанни в первый момент растерялся; но из темного угла кабинета чей-то голос, в котором оба брата признали голос Земляного Червя, бросил Робертсу:

— Я их знаю... Они работали в цирке Императрицы.

— Ага! В таком случае, вы годитесь... Ангажемент на шесть вечеров, начиная с будущей субботы... за все пять фунтов.

Глава XXIX.

Вслед за этими шестью представлениями в Гулле, где братья имели отличный успех, их пригласили на двенадцать представлений, в качестве «этуалей», в Гриннок, в Шотландии, потом, опять-таки, в качестве этуалей, как выражаются в Англии, в кафе-шантан в Плимуте. Закончив свой ангажемент в Плимуте, они полтора года странствовали то в вагоне, то на пароходе, выступая во всех почти больших городах Соединенных Королевств. С течением времени, они, однако, приобрели уже такую известность, как акробаты на трапеции, что начали отказываться от ангажементов, требовавших слишком больших затрат на проезд. Джанни решил, что они с братом будут жить только своим заработком, не трогая, по возможности, денег, вырученных за фургон: эти деньги он хотел приберечь на черный день—мало ли несчастных случаев бывает в их профессии.

Эта утомительная, суровая жизнь, с непрерывными передвижениями и временными остановками, имела определенную цель: она дала возможность братьям, перебывавшим в самых разнообразных труппах, изучить работу почти всех гимнастов-комиков трех королевств. С высоты своих трапеций, Джанни и Нелло жадно вглядывались в каждого клоуна, рядом с которым им при-

ходилось работать неделю-другую, силясь усвоить себе все особенности, все самобытные черты его гимнастической повадки, проникнуться скрытым духом английского искусства во всех его разнообразных проявлениях у разных людей. И оба, втихомолку, упражнялись, придумывая и репетируя маленькие забавные сценки, ими же и сочиненные, пока не стали клоунами—даже костюмы клоунов лежали у них наготове в чемоданах—клоунами, совсем готовыми выступить на «ринге», как только подвернется подходящий случай.

Глава XXX.

Случай не заставил себя ждать. В один прекрасный день, в Карлейле, Ньюсом, директор труппы, в которой в то время служили братья, поссорившись из-за чего-то с Фрэнксом, — знаменитым Фрэнксом, мастером мрачного юмора,—неожиданно был покинут перед самым началом представления первым своим клоуном и компаньоном.

Положение Ньюсома было очень затруднительно, когда Джанни предложил ему, вместе с братом, заменить отсутствующего. Вскоре оба брата были уже на арене, во главе целого батальона клоунов, в костюмах и своеобразных, и нарядных, и Нелло на положительном английском языке бросил публике заветную фразу клоунов:—«Here we are again—all of a lump. How are you?»)»

И тотчас же новые клоуны разыграли ряд сценок тонкой буффонады, вперемежку с головоломными приемами, с пластическими позами, с фантастической музыкой, ряд быстро сменявшихся и самых разнообразных картин, где сливались в различных сочетаниях тела обоих братьев звуки их скрипок: и это сочетание силы с изяществом и грацией, утонченная оригинальность их комизма, пленительная юность и академическая красота Нелло, и даже детская смешливая радость, доставляемая

*) А вот мы опять здесь—всей гурьбой! Как поживаете?

ему дебютом, покорили всю залу, разразившуюся бесшумными рукоплесканиями.

Глава XXXI.

Английская клоунада в последние годы стала какой-то зловещей, до того, что от нее бросает в жуть, и холодная дрожь пробегает по спине. То уж не сарказм, не насмешка Пьерро с белым, словно гипсовым лицом, прищуренным глазом и смехом, притаившимся в уголке рта; отвергла она и гофмановские чудеса и обывательскую фантастику, в которые она одно время рядила свои измышления и создания. Теперь она наводит ужас. Все те пугливые волнения, тревоги, которые нагоняет на нас окружающая нас современность, вся та драматичность, тот трагизм, та жгучая тоска, которые кроются под ее бесцветной внешностью,—всем этим завладела английская пантомима, и преподносит это публике под соусом акробатических штук. Она пугает зрителя маленькими жестокими наблюдениями, злобным подчеркиванием убожества и уродства жизни, преувеличенным и искаженным юмором жестоких карикатуристов, превращающих спектакль в какую-то кошмарную фантастику, от которой щемит сердце, как от чтения «Сердца-изобличителя» американца Эдгара По. За последнее время на аренах цирков и в британских кафе-концертах ставят только интермедии, в которых акробатические скачки и прыжки задаются целью уже не позабавить, не потешить глаз, но изумить, напугать, наполнить ваше сердце мучительной тревогой за эти мышцы и тела, изодряющиеся в таких болезненных и странных вывертах,—интермедии, где, наряду с кулачными расправами, в которых победитель злобно скалит зубы, с семейными сценками, от которых волосы становятся дыбом, и похоронными шутками, перед зрителями проходят видения Бедлама, Ньюкэстля, анагомических театров, каторги и морга. Какова же декорация этих интермедий?—какое-то подозрительное освещение. стена у заставы—стена, с которой как будто еще не смыты следы преступления, совершенного возле нее; на

гребне этой стены появляются в черных фраках эги ночные призраки наших дней и перелезают через нее, вытягивая ноги, которые становятся длинными-длинными... как те, что мерещатся в болезненных грезах курильщиков опиума на Дальнем Востоке; и вот, у этой стены, начинаются сумасшедшие выверты, идиотские жестикюляции, тревожная мимика дома умалишенных, и на белой стене, словно обтянутой саваном, в проэкции волшебного фонаря, пляшут уродливые тени человеческих тел, в которых как будто вывихнуты все суставы.

И в эту то буффонаду, ледящую кровь, и во все другие, черный потертый фрак—новейшая ливрея английского клоуна—вносит что-то кладбищенский-похоронное, словно те побасенки, что рассказывают друг другу могильщики за работой.

Глава XXXII.

Гимнастическая пантомима обоих братьев отнюдь не напоминала жанра новейших английских клоунов. В этой пантомиме было воспоминание о смехе итальянской комедии и, вместе с тем, что-то от той мечтательности, которую сыновья Степаниды вкладывали в напев своих скрипок. Их вымыслы изобиловали чертами столь простодушными, что они вызывали умиление, чертами слегка сомнамбулическими, навевавшими раздумье. Все это окрашивалось в несказанное очарование, исходившее от мальчишеской грации Нелло. К тому же они ввели в свои упражнения своего рода фантастику, в которой не было ничего «кладбищенского», печального, сумрачного, фантастику изящную, задорную, остроумную, на подобие страшного рассказа, в котором слышится то и дело издевка над доверчивым слушателем. И во все это они непрерывно привносили все новые нечаянности, прихоти воображения; время шло, и во всем стройном теле Нелло словно пробуждалось фантастическое бытие.

Трудно сказать, чем именно и каким путем, но пластическое зрелище, творимое братьями, вызывало у

зрителей мысль или воспоминание о каком-то проницательном видении, погруженном в светотени, о некоей Шекспировской грезе, о своего рода «Сне в летнюю ночь», поэзию которого они претворяли в акробатические приемы.

Глава XXXIII.

Ньюсом заключил договор с обоими братьями из десяти фунтов в неделю, и оба, войдя отныне в состав постоянной труппы, жили более или менее в ладу со всеми артистами, мужчинами и женщинами. Мужчины, хоть и не лишенные британской спеси, были добрыми товарищами; женщины—все «порядочные женщины» и матери семейств, были «кротки, как ягнята», и лишь в иные дни, под влиянием ли выпитого джина, или же северо-восточного ветра, те из них, которые не любили друг друга, затевали драки. И это не были потасовки французенок, в которых больше бранных слов и разорванных чепчиков, чем тумачков, но настоящий бокс, настоящие свалки, после которых избитая иной раз укладывалась в постель на две недели.

В сущности, братья вели теперь такую же кочевую жизнь, как и во Франции, с той разницей, что кочевали они теперь в лучших условиях и в стране, более интересующейся физическими упражнениями. Для английского провинциального городка прибытие цирка—целое событие, и когда приезжая труппа устраивает парадное шествие по улицам, при участии всех лошадей и всех артистов, со всеми редкостями и с клетками диких зверей, лавки закрываются, как в праздник, и целый город ликует. Не мудрено, что здесь, в Англии, такие на редкость изящные и интересные клоуны, как Джанни и Нелло, имели шумный успех, и это скоро стало оказывать влияние на сборы. Время от времени, чтобы поощрить братьев и привязать их к себе, Ньюсом давал им бенефисы, причем бенефициантам самим приходилось обходить дома и предлагать билеты; такие бенефисы приносили им от пяти до шести фунтов. И фамилия обоих клоунов, вернее, псевдоним, выбранный ими, красовался на вид-

ном месте афиши, выведенный огромными буквами, самыми красными чернилами, какие только есть в Великобритании.

Глава XXXIV.

Несмотря на шумный успех братьев в Англии и на то, что имена их начали входить в славу, Нелло, как истый юный француз, успел уже соскучиться. Сыну солнечного юга, с его латинским темпераментом, были не по душе британские туманы, серое небо, закопченные дома, вся эта атмосфера, пропитанная каменноугольной пылью, которая накладывает на все свою печать до того, что серебряные монеты, пробывшие хотя бы несколько дней в этой стране угля, унылого и все грязнящего, — даже, если они всего лишь лежали в шкапу, всегда можно узнать с первого взгляда. Ему наскучили и английский способ отопления, и английская кухня, и напитки, и воскресенья, и люди. Вдобавок, не чувствуя себя больным, Нелло усвоил себе привычку покашливать, и это покашливанье, хотя и не внушавшее собственно никаких опасений, все же напоминало Джанни, что мать их умерла от чахотки.

Нелло, не являя на первый взгляд развительного сходства с матерью, все же был вылитый портрет ее. Он был очень схож с ней строением тела, и в мягкой мужественности клоуна был оттенок женственности, отличавшей цыганку. Что касается лица его, — странное дело! — оно было совсем другое, чем у матери, и тем не менее Нелло, с его белой кожей, живыми черными глазами, маленьким цветущим ртом и белокурыми усиками, с его улыбающейся и немного насмешливой кошачьей мягкостью движений, в иные минуты, в известных настроениях и позах, какой-нибудь одной изысканно-тонкой чертой, изгибом контура, чем-то особенным во взгляде, улыбке, презрительной гримаске, тысячью разных мелочей, больше напоминал Степаниду, живее воскрешал ее образ, чем если бы у него было одно лицо с матерью. В долгие часы скучного сиденья в вагоне, среди товарищей, говорив-

ших на чужом языке, под влиянием грез, навеваемых бесконечной ездой, Джанни иной раз, глядя на Нелло, на минуту забывался, и ему казалось, что он видит перед собою свою мать.

Однажды, вся труппа ехала из Дорчестера в Нью-кэстль. Нелло, сидя напротив старшего брата, спал, закинув голову назад, с открытым ртом, время от времени покашливая, но не просыпаясь. День клонился к вечеру, и сумерки уже окутали тенью глазные орбиты спящего, его полураскрытые повдри и рот. Эти вечерние тени придали похудевшему лицу Нелло совсем новое выражение, и Джанни, не сводившему глаз с младшего брата, вдруг представилась повозка и на подушке лицо умирающей матери.

Он неожиданно разбудил брата.

— Ты болен?

— С чего ты взял?—удивился Нелло, слегка встряхиваясь и ежась со сна. — Вовсе нет.

— Нет, да... слушай, братик... ах! мне положительно не везет... я напрасно потратил больше двух лет, изучая подъем при помощи одной только кисти руки... Брэди, преподаватель гимнастики в Нью-Йорке, не мог пойти дальше семи ступеней... я, как тебе известно, дошел до девяти,—но тебя в это уж никак не введешь,—тебе тут делать нечего... точно также и висение в пространстве, с вытянутыми руками, которое удастся только уроженцам Кубы... На этих днях мне уже показалось, что я придумал—у меня была в голове готова штука, да настоящая... но в последнюю минуту—чорт бы ее побрал!—мне показалось это невозможным, невыполнимым... то, чего я добивался... ты понимаешь, братик?... я хотел в то, что мы уже делаем... ввести кое-что новое... совсем необычайное... с чем стоило бы выступить в парижском цирке.

— Почему же не погодить еще?

— Почему?... потому что ты скучаешь... кашляешь... а я не хочу, чтобы ты кашлял... И, значит, надо убираться отсюда... Что же делать! Наш дебют там будет не так великолепен... но когда-нибудь... чорт возьми! неужто же

этот день никогда не придет для нас?... мы наверстаем свое... Дай мне еще месяц, полтора месяца сроку... больше и тебя ни о чем не прошу.

Глава XXXV.

Нелло, несомненно, скучал среди англичан, но в это время Ньюсом пригласил француза фокусника — и это немного развлекло его. Новый артист был человек с безукоризненными манерами; о нем ходили какие-то странные слухи: говорили, что ему нельзя вернуться во Францию, что он знатного происхождения, но пойман в плутовстве за картами, что сплутовал он для того, чтоб добыть денег для светской женщины, которую безумно любил. Между этими изгнанниками установилась близость меланхолическая, но отрадная, к которой причастилась и нынешняя подруга обесчещенного дворянчика, кроткая голубка, роль которой заключалась в том, что ее хозяин ежедневно заставлял ее исчезать; на этом ремесле, и этой жизни в глубине темных карманов, бедная птичка утратила свою живость, подвижность и грацию—всегда неподвижная, она даже не ворковала, не охорашивалась, не поправляла перышек и казалось унылой искусственной птицей, вырезанной из дерева.

К лету здоровье Нелло как будто совсем поправилось, он повеселел и даже, повидимому, был доволен своими гастролями в Англии; но, как раз в это время, директор-распорядитель обоих парижских цирков во время одного из своих ежегодных турне по Англии с целью вербовки новых молодых талантов, заметил братьев, работавших тогда в Манчестере, и пригласил их на зимний сезон, начинавшийся в конце октября.

Глава XXXVI.

Оба брата стояли, в улице Круссоль, в кабинете директора обоих цирков,—большой и низкой комнате, меблированной только огромным столом, обтянутым зеленым сукном, и креслами красного дерева, в архаическом стиле первой империи; стены были обиты какими-то

скучными обоями, и на них наколоты булавками старые афиши первых представлений новых номеров, вошедших в славу, попеременно с несколькими щегольскими и броскими хромо-литографиями Шерэ.

Директор вслух читал братьям текст договора, который им предстояло подписать.

«Мы, нижеподписавшиеся...

...
заключили между собою следующий договор:

1. Гг. Джанни и Нелло признают себя состоящими на службе в труппе Общества Двух Цирков, в качестве «клоунов», и обязуются нести обязанности службы, какие им укажет директор-распорядитель и когда он сочтет нужным, не только в представлениях, которые оба цирка дают в Париже, но и в том случае, если представления будут даваться в других городах Франции, или же за границей, во всех залах, садах и т. п., казенных и частных, какие им будут для этой цели указаны, и сколько бы представлений ни давалось в течение дня.

2. Основываясь на предыдущем пункте, гг. Джанни и Нелло обязуются сопутствовать труппе в полном составе или же части ее, куда и каким путем укажет директор-распорядитель, будь то во Франции, или за границей, и даже следовать одни, буде он того потребует, по простому его предписанию, не считая себя в праве требовать какого бы то ни было дополнительного вознаграждения, или возмещения убытков, кроме проездных, причем проезд они обязуются совершать дорогой и таким способом передвижения, какие будут им указаны директором-распорядителем.

3. Гг. Джанни и Нелло обязуются принимать участие во всех подробностях службы и, как-то водится в труппах, дающих представления с участием лошадей, — в уборке арены и, вообще, манежа, и носить форму, каковая будет им выдана для участия во всяком представлении, в каком они могут быть полезны.

4. Помимо установленного выше, гг. Джанни и Нелло обязуются давать, каждый вечер, по одному номеру *).

*) Упражнения, исполняемые только обоими клоунами, при пустой сцене.

5. На репетиции гг. Джанни и Нелло обязаны являться в то место и в тот час, какие будут им указаны всякий раз по предупреждению—устному ли, или же на табличке, ежедневно вывешиваемой в цирке, с расписанием порядка упражнений. Кроме того, они обязуются являться в манеж, по крайней мере, за полчаса до начала представления, даже, если их номера не включены в программу, и работать, замещая отсутствующих или сверх программы, всякий раз, как этого от них потребуют.

6. Директор-распорядитель оставляет за собой право, принадлежащее только ему одному, направлять на работу гг. Джанни и Нелло, внося в нее все изменения, дополнения и сокращения, какие он признает нужными.

7. Гг. Джанни и Нелло не имеют права выступать ни в каких местах, частных или общественных, кроме тех, где будет давать представления труппа обоих цирков, под страхом пени, в размере месячного оклада за каждое нарушение этого пункта.

8. Гг. Джанни и Нелло расписываются в том, что им известны равличные правила и регламенты обоих цирков, и всем этим правилам они обязуются подчиняться, признавая законными штрафы, каковые могут быть наложены на них в силу поименованных правил и регламентов.

9. В случае прекращения или же перерыва представлений по независящим обстоятельствам, вследствие ли пожара, общественного бедствия, по приказу властей держащих, вследствие серьезных беспорядков, или по иной какой-либо причине, каковая могла или не могла быть предвидена, и притом, во всякой стране, где находится в данное время вся труппа, или часть ее,—хотя бы перерыв длился не более одного дня, жалование гг. Джанни и Нелло перестает идти со дня закрытия цирка. Однако же, в случае, если закрытие продлится более одного месяца, гг. Джанни и Нелло в праве расторгнуть настоящее обязательство, заявив о таковом своем намерении директору-распорядителю.

10. Все костюмы, необходимые для публичных выступлений, выдаются им дирекцией обоих цирков. И ни-

каких изменений в этих костюмах, какого бы то ни было рода, не допускается.

11. Настоящий договор заключается сроком на один год, причем директор-распорядитель оставляет за собой право отказаться от договора по истечении шести месяцев.

Директор-распорядитель обязуется уплачивать ежемесячно гг. Джанни и Нелло по две тысячи четыреста франков.

Платежи производятся каждые две недели.

13. Директор-распорядитель ни в каком случае не ответствен за несчастные случайности, которые могут приключиться с гг. Джанни и Нелло во время их упражнений.

.....
Братья уже готовились подписать этот договор в двух экземплярах, когда директор спросил Джанни:

— И вы настаиваете на том, чтобы на афишах вас именовали «клоунами Джанни и Нелло»?

— Да, сударь,—был решительный ответ Джанни.

— Но, позвольте вам сказать, ведь, это же нелепо... даже совершенно чужие друг другу люди считают полезным выдавать себя за братьев... а вы, на самом деле, братья...

— Когда-нибудь... мы тоже начнем выступать, как братья... но этот день еще не пришел... я...

— Что? Что такое?—И, видя, что Джанни отмалчивается, директор продолжал:

— Впрочем, как вам будет угодно... я только предупреждаю, что, в ваших собственных интересах и в интересах вашего дебюта... это было бы полезнее... и вы это напрасно... совсем напрасно.

* * *

И директор сам повел обоих братьев через двор, соединяющий контору в улице Круссоль с зимним цирком, через вход, предназначенный только для артистов. Они входили в склады, в которых были навалены горы всевозможных бутафорских принадлежностей, колоссальных

размеров, и с потолка свешивались на невозможной высоте самые невероятные фигуры, вроде «матюшки Жигонь», способной укрыть под своими розовыми шелковыми юбками целых два десятка ребятишек. В полуоткрытую дверь им видны были двое мальчиков и девочка, в пальто поверх рабочего трико, упражнявшихся в сохранении равновесия на шарах, между тем, как рукой подать от них, великолепный королевский тигр, красивый и гневный, наскучив близостью свежего мяса и беспрепятственным катаньем шаров, от времени до времени, прижавшись мордой к прутьям клетки, громко сопел, издавая резкий звук, напоминающий паровой свисток.

Пройдя через темные конюшни, где лошади сонно переступали с ноги на ногу, они очутились в цирке, среди бела дня казавшемся полутемным, так как постройка была рассчитана только на вечернее освещение. И в этом мутном, призрачном свете, подобном солнечным лучам, пронизывающим водную поверхность и голубоватому блеску в расселине ледника, сидя за столом среди пустой арены, пять-шесть человек, в фуражках и теплых фуфайках, репетировали пантомиму. И будничная реальность актеров, их веселый смех, не вызывавший отклика в призрачном полумраке огромной пустой залы, придавал этой пантомиме совсем особый характер.

Глава XXXVII.

Дебюты братьев, без анонсов, без реклам, без обычного и необычного шума в прессе, без всего того, что подстегивает любопытство парижан и привлекает их внимание к таланту, впервые выступающему перед публикой, прошли незамеченными. В первое время их даже не различали среди других клоунов. Однако, постепенно, исключительная ловкость братьев в гимнастических упражнениях, изящество, грация, прелесть мельчайших деталей «работы» Нелло, тонкость и неожиданность его комических выходов, наконец, оригинальность и новизна, которые братья сумели внести в свой жанр,—хотя большинство и не могло отдать себе отчета, в чем, собственно, заключается эта

оригинальность,—обратили на них внимание. Но все-таки, имен их парижане не запомнили. О Джанни и Нелло говорили: «Знаете,—эти двое... с итальянскими именами». Они пользовались своего рода анонимной известностью, и только. А, между тем, они сочиняли и разыгрывали подлинные маленькие, гимнастические поэмы, в которых они проявляли новизну вымысла. Вот либретто одной из этих фантастических вещиц, память о которой еще сохранилась в цирке.

Глава XXXVIII.

На полутемной арене, при спущенном газе, Джанни спит, лежа на земле. Из голубоватого облака пара стремительно вылетает Нелло, изображающий в этой поэтической интермедии коварного коболяда,—блуждающий огонек страны гор и озер, который дразнит и манит путников и заводит их в пропасти. Он одет в цвета тени и дыма, с мрачными отливами металлов, скрытых в недрах земли, черного перламутра, дремлющего на дне океанов, отливов, которые под сумеречным небом трепещут на крыльях ночных мотыльков.

Лукавый дух быстрыми воздушными шагами бесшумно приближается к спящему и начинает порхать вокруг него, над ним, маяча темным расплывчатым силуэтом, то касаясь его, то колеблясь и паря над ним в воздухе, как кошмар, вышедший из «Ворот Черного дерева», над человеческим сном. Джанни спит беспокойно, вздрагивает, шевелится во сне, поворачивается, видимо усиливаясь стряхнуть кошмар, а кобольд продолжает мучить его—то дышет ему в затылок, то щекочет ему лицо траурным крепом маленьких крылышек, прикрепленных к его пяткам и локтям, то надавливает ему на живот легкой тяжестью своего тела, приподнятого на кистях: то самый дух кошмара в его реальном воплощении.

Джанни просыпается, обводит вокруг себя глазами, ища того, кто мешал ему спать, но проказник уже скрылся за пнем, на котором покоилась голова спящего.

Джанни снова засыпает, и тотчас же, на том же пне, появляется уже успевший вскочить туда кобольд, гри-

масничают и, отцепив от своего костюма прикрепленные к нему скрипку и смычек, время от времени издает фальшивые звуки, нагибаясь к самому лицу спящего, который ежится от этих неблагозвучий, и, с невыразимым наслаждением вглядываясь в дрожь отвращения, пробегаящую по его лицу, смеется нечеловеческим, злобным смешком. И вдруг, сыплется целый дождь, целая какофония звуков,—словно в ясную, морозную, зимнюю ночь два десятка котов мяучат и кричат вокруг кошки, усевшейся на бочку с выбитым дном.

Но Джанни уже вскочил, уже преследует своего мучителя, и оба носятся один за другим по арене. Вот-вот рука Джанни схватит мучителя; но лукавый блуждающий огонек гибок, увертлив: он то отпрянет назад, перекувырнувшись через голову, то кинется на землю плашмя и проскользнет у него между ног, там схитрит, здесь извернется:—он неуловим. Но вот уж, кажется, не уйти ему из рук Джанни, и блуждающий огонек уж завертелся колесом, в котором на минуту мелькают лишь его белые подошвы, и это коловращение превращается, под конец, в вихрь. Внезапно дух исчезает; Джанни и публика напрасно ищут его, а он уж преспокойно сидит на кружале потолка, куда ухитрился взобраться с непостижимой быстротой, вихрем промчавшись сквозь ряды зрителей, сидит и ухмыляется, недвижимый и насмешливый.

Джанни снова пускается в погоню за ним. И бешеная гонка, которую зрители только что наблюдали на земле, повторяется в воздухе. Целая система трапеций, соединенных свободно висящими веревками, приведена в движение. Блуждающий огонек схватывается за первую из них и тотчас же выпускает ее и летит в пространство, медленно, лениво, радостно разгибая свое сумеречное тело, которое, проносясь под ночными светами люстр, отливает тонами обугленной серы и пурпура, и в заключение своего воздушного полета, красиво вскидывая обе руки кверху, хватается за вторую трапецию. Джанни гонится за ним. И так они несколько раз кружат по всему цирку. Опередив противника, кобольд на миг задерживается на одной из трапеций, чтобы передохнуть, и вновь

извлекает из своего инструмента иронический скрежет. Наконец, Джанни настигает его, и оба, обнявшись, стремглав летят вниз: на такой «скачек в глубину» никто еще до них не осмеливался.

На песке арены завязывается рукопашная борьба между кобальдом и Джанни — борьба, в которой они как будто сжимают друг друга и вырываются, напрягая все силы; но эти усилия — одна только видимость: все дело в грациозном сплетении и расплетении тел, в изящном, волнистом выявлении игры мышц, той самой, которую художники пытаются вложить в свои картины, когда они изображают физическую борьбу сверхъестественных существ с обыкновенными смертными.

Наконец, лукавый дух повержен и лежит на земле, изумленный, униженный, сознающий свое поражение, обращенный в раба своего победителя. Тогда Джанни, в свой черед, достает свою скрипку и извлекает из нее чарующие звуки, ласковые, нежные, из которых лучится доброта человеческой души в часы милосердия и прощения. И, по мере того, как он играет, поверженный кобальд, как зачарованный, постепенно приподнимается, тянется к источнику звуков, и видно, как все его тело преисполняется восторга.

Внезапно, он вскакивает и, как бесноватый, из которого заклинатель изгоняет нечистого духа, начинает весь корчиться, судорожно выгибаясь, видимо, испытывая тяжкие муки. Но и в этих муках нет ничего безобразного и отталкивающего. В теле его, как будто недвижимом, происходят какие-то жуткие изменения, противные всем законам человеческой анатомии: вдруг западают бедра, странно выдаются лопатки; позвоночник словно продвинулся из спины вперед и грудь выпятилась, точно зоб огромной птицы с неведомой планеты; во всех членах лукавого духа словно пробегают внезапные токи мышечной жизни, на миг заполняющие вялую плоскую кожу змеи. На глазах у всех, зверь — ползучая, пресмыкающаяся, проклятая тварь, способная лишь на бескрылый полет, изгоняется из тела кобальда, и в быстрой смене пластических поз его грациозное, изящное тело, освобожденное и сбросившее змеинный покров, в прекрасных,

гармонических, человеческих движениях и жестах, являет всю красоту и гармонию античных статуй.

Снова ярко вспыхивает газ, возвещая, что смутные грезы и видения ночи миновали, что ночь сменилась днем; укрощенный дух берет расколдованную скрипку, уже не издающую визгливых, негармонических звуков, и начинает играть вместе с Джанни... И льются, и журчат, и лепечут звуки, словно шопот свежего летнего утра, словно певучее журчанье ручья, пробирающегося сквозь старые корни деревьев, словно заглушенная болтовня цветочков, увлажненных росой, с солнечным лучем, который пьет эту росу с их влажных уст.

Глава XXXIX.

Оба сына Томмазо Бескапе и Степаниды Рудак были французами—насквозь, французами до мозга костей. Темперамент, навыки ума, даже патриотизм—все это у них было французское. От иностранного происхождения, от предков цыган в них осталась одна только особенность, которую стоит отметить. У цивилизованных наций дар поэтической мечтательности, романтического и нежного идеализма, этот почвенный дух, питающий лишь насыщенный литературой мозг, существует лишь на верхних ступенях общественной лестницы, составляет, за очень редкими исключениями, безусловную привилегию высших, образованных классов. В данном же случае оба брата унаследовали мечтательный, склонный к созерцанию,—я сказал бы: литературный—склад души от низших классов тех племен, которые сумели остаться дикими и непросвещенными в нашей Европе, где так много школ и учителей. И нередко эти два простолюдина впадали в созерцательное, лирическое настроение, в котором и последний безграмотный цыган умеет сочинять вариации, которые его скрипка поет вершинам деревьев и звездам ночным, серебряным утренним зорям и золотому полудню.

Обоим был внятен и доступен язык вещей, магнетический язык природы, которая и днем и ночью го-

ворит без слов с утонченными натурами, с избранными интеллектами, но каждый понимал его по своему.

У старшего наклонность к рефлексии, к раздумью, к размышлению, обостряемая напряженной деятельностью мозга, целиком укладывалась в рамки его профессии, посвященной культу силы и физической ловкости, вся уходила на отвлеченное выдумывание гимнастических концепций, почти всегда неосуществимых, на изобретение в мечтах клоунских трюков, на практике невыполнимых, на вынашивание в своем мозгу особого рода чудес, чаемых от мышц и нервов собственного тела. Даже, осуществляя выполнимое, Джанни уделял значительную долю рефлексии и мозговой работе, и его любимая аксиома гласила, что для того, чтоб «отшлифовать» тот или другой трюк, нужно потратить четверть часа на работу и три четверти на обмозгование.

Младший брат, оставшийся невеждой и весьма этим довольный, не обладавший никакими знаниями и сведениями, кроме приобретенных случайно, в раннем детстве, из отрывочных разговоров с отцом, во время под'емов пешком, когда дорога шла в гору, и притом более ленивый умом, чем Джанни, и наделенный большей наклонностью к беспредметной мечтательности: словом, по природе больше цыган, лесной бродяга и, потому, больше поэт,—все время жил в каком-то мечтательном сне наяву, в улыбающихся, так сказать, чувственных грезах, сквозь которые неожиданно прорывалась насмешливая или шаловливая эксцентрическая выходка, порыв веселья или умиления. И, в силу этих качеств, Нелло, естественно, брал на себя отделку, изобретение грациозных деталей, изукрашивание фиоритурами того практически выполнимого, что придумывал его старший брат.

Глава XL.

У обоих братьев скоро установились добрые и дружелюбные, вполне товарищеские, отношения с гимнастами и наездниками цирка. В этих профессиях, смертельная опасность, которой ежедневно подвергает

себя каждый, заставляет смолкнуть зависть, обычную в других театрах, в особенности, в оперном; эта опасность — риск убиться — грозящий каждому артисту, объединяет их всех в каком-то братстве на военный лад, в почти любовной близости, в какой идут плечом к плечу солдаты в бой. Надо заметить также, что, если у иных в их прошлой, полной лишений, жизни скоморохов порой и просыпались инстинкты зависти и ненависти, в обстановке довольства, обеспеченности, жизни, окруженной уважением и даже легким ореолом славы, эти инстинкты смятаются, затушевываются, становятся более человеческими.

Притом же, оба брата сразу понравились всей труппе. Старший — сразу видать — был, что называется, рубаха-парень и хороший товарищ, и, если лицо у него и было серьезное и немного угрюмое, зато лицо это озарялось ласковой, доброй улыбкой. Младший же сразу покори́л все сердца своей увлекательной болтовней, шутливыми, мальчишескими выходками, даже легкими поддразниваниями, всегда впрочем ласковыми, не уязвляющими глубоко; своей вечной подвижностью, оживлением, говором, шумом, который он вносил с собою в их среду, в иные тупые, тоскливые дни, тем неуловимым очарованием, которое распространяет вокруг себя красивое, приветливое и живое существо среди других, будничных и озабоченных, — тем очарованием, вызывающим улыбку и разглаживающим морщины на лбу, которое Нелло всегда распространял вокруг себя, с самого раннего своего детства.

Глава XLI.

Страстно преданные своему ремеслу, братья любили и вечера представлений в цирке, в особенности, летом. Оба чувствовали себя хорошо в большой конюшне, с дубовыми панелями, с ажурными железными решетками, с стойлами, украшенными толстыми медными шишками, легкой стройки, почти сплошь из металла, отражавшегося вместе с газовыми рожками волооченых люстр в двух высоких зеркалах в глубине, повторявших отражение до бесконечности; — в этой конюшне, наполненной звоном

узdech шестидесяти лошадей, шелестом их клеенчатых желтых с коричневым, попон, гордым сверканьем их глаз. Взор их тешили даже предметы, горами наваленные по углам, знакомые и дружественные—высокие лестницы, выкрашенные белой краской, балансы в виде буквы Х для пляски на канате, флаги, ленты, обручи, зятанные пленой бумагой, красная колясочка для четвероногих, расхаживающих на двух ногах, как люди, сани в виде стрекозы, все многочисленные бутафорские аксессуары, видные сквозь дверцы не плотно закрытых кладовых, то темные, то переливавшиеся всеми цветами радуги, точно в калейдоскопе. Им приятно было каждый вечер снова видеть все это, вместе с большою каменной колодой, в которую, капля за каплей, капала вода, мерно ударяясь с дно, и стенными часами, никогда не заводившимися, в деревянном футляре, над дверью.

Под лошадиный топот и ржание братья находили здесь жизнь, оживание, развлекающую атмосферу театральных кулис. Здесь, под маленькой черной рамкой без стекла, заключавшей в себе написанную на листке почтовой бумаги программу представления, опершись рукою о барьер и держа за спиною стэк, англичанин-наездник, *gentle-риц* ршег склонившись к группе закутанных женщин в голубых шелковых кашне, закрывавших им шею и плечи, рассказывал им что-то по-английски. Поодаль играли две девочки, с распущенными волосами, связанными на макушке пышными, вишневого цвета бантами и в длинных пальто, похожих покроем на еврейский кафтан. Когда они распахивались, из под них показывались светлые трико. Тут же, рядом, мужчина в красном жилете подкрашивал лошадиное копыто. А в глубине четыре-пять клоунов стали в кружок, серьезные, как покойники, и забавлялись тем, что с поклоном перебрашивали черную шляпу с своей головы на голову соседа. Одним лишь сухим и четким движением шеи,—и шляпа обходила весь круг париков из пакли, задерживаясь на каждом не долее одной секунды. Немного поодаль, старушка, современница Франкони-отца, каждый вечер заходившая посмотреть лошадей, разговаривала со всеми разаз, поглаживая их своей морщинистой рукою, сухой и

желтой, как пергамент. А возле нее крохотный пятилетний гимнаст ел апельсин, брошенный ему кем-то из публики. В уголке внутреннего коридора наездница, только что кончившая свою «работу», спешила накинуть на себя шотландский плащ и всунуть ножки в белых атласных башмачках в широкие турецкие туфли. В другом таком же коридорчике стояла группа молодых наездников в отложных воротничках, с искусно завитыми и тщательно расчесанными на пробор волосами; а рядом, наездник-комик, в рыжем парике и с красным покрашенным носом с грехом пополам болтал по-немецки с тощими конюхами, у которых были одинаковые деревянные лица, словно вырезанные по одной болванке, и водянистые бесцветные глаза. Наконец, возле главного широкого прохода и занавеса, сквозь который доносились моментами рукоплескания, сажали на оседланных и взнузданных собак обезьянок, к ушам которых были прикреплены жандармские треуголки.

В этой смене быстро мелькающих групп и картин, в этом царстве ложного блеска, мишуры и размалеванных лиц, можно наблюдать очаровательную и причудливейшую игру света, который точно брызжет пятнами на лица и костюмы. Вот он скользнул по рубашке эквилибриста, и все рюши и блески заструились, как огненные ленты фейерверка. Нога, обтянутая шелковым трико, кажется белой во впадинах и лиловато-розовой на выдавшихся мышцах, как роза, пригретая солнцем только с одной стороны. На ярко освещенном, намазанном мукой лице клоуна каждая черта выступает с резкой четкостью и правильностью линий каменного изваяния.

И поминутно, разбивая только что образовавшиеся группы, прерывая диалоги, приготовления к отдельным номерам, флирт и разговоры о лошадях, стремительно мчится на арену, или проносится оттуда конь, с разбегающейся по ветру гривой. И поминутно, безостановочно, по этому же коридору, в котором собирается в полном составе труппа, откуда выносятся и вывозятся на арену все, что хранится в сундуках и шкапах, тащут огромные квадраты, паркеты, изображающие зеркальную поверхность озера, коляски, колесницы, мебель для пан-

томим, клетки с дикими зверями, кубарем вылетают со сцены клоуны, грациозно прыгают наездницы, успевая «сорвать хлопок», проходят, тяжело раскачиваясь из стороны в сторону, увальни-медведи, путливые олени, неистово ревущие ослы, целые стада собаченок, виляющих хвостиками, подпрыгивающих кенгуру, гримасничающих обезьян, разыгрывающих дуэты юных слонов—всех этих животных, приобщенных к проявлениям человеческой ловкости.

Глава XLII.

В этой конюшне, за кулисами цирка, Нелло всегда испытывал особые ощущения.

После того, как он, натерев лицо белилами, превращал его в лик статуи, на котором только и оставалось живого, что глаза, блестящие между век, покрасневших, точно от холода, — после того, как он напяливал себе на голову пирамидальный парик, а на плечи костюмы, которые он сам изобретал, с вышитыми, по его заказу, гладью по нежному шелку, так чтобы они казались выпуклыми, огромным пауком, или совой с золотыми глазами, стайей маленьких гладких летучих мышей, или еще каких-нибудь животных из царства ночи и сна, выделявшихся на материи лишь мрачным силуэтом или черною тенью, — стоило ему два-три раза увидеть отраженным в конюшенном трюмо свое новое, вечернее «я», — как для него начиналась новая и странная жизнь, совсем не похожая на утреннюю, и самая кровь в его жилах, казалось, бежала по новому. Не то, чтобы юноша сознавал, что с ним происходит метаморфоза, что он превращается в жителя подлунной страны, ливрею которой он надел на себя—нет, но все же, с ним творилось нечто не вполне нормальное.

Клоун с намазанным мукою лицом, одетый в фантастические цвета и одежды, тотчас же и сам становился в соответствии с внешним своим обликом настолько серьезным, что даже и комическим выходкам, даже и фарсу он умел придать характер мечтательности, и весе-

лость его вдруг пресекалась, словно чьей-то неведомой волей. И голос его звучал не совсем так, как в обыденной жизни—в нем был оттенок торжественности, которая слышится в замедленном говоре человека в минуты душевных волнений. И в жестах Нелло, помимо его воли, появлялось что-то акробатическое, и даже за кулисами, даже, когда он совершал самые обыкновенные действия, он сам чувствовал, как члены его изламывались причудливыми арабесками. Больше того: наедине с самим собой, у него прорывались жесты сомнамбулы, или галлюцината, жесты, которые физиологи называют «символическими»—не вполне зависящие от его воли. Так, например, он ловил себя на том, что в пустом коридоре он заставлял прыгать на стене, освященной рожком, китайские тени, складывая особенным образом пальцы и подолгу любясь их уродливой пляской: и это без всякой цели, просто для собственного удовольствия, как будто тело его повиновалось каким-то причудливым, магнетическим токам и прихотливым силам природы.

Потом, мало-по-малу, им овладевало состояние какого-то неопределенного возбуждения; окружающая действительность как-то стиралась, дневная мысль засыпала, словно из головы его ложкою вычерпали, одну за другой, все его мысли, и, в конце-концов, клоун видел лишь отражение в зеркалах своей белой фигуры, лики чудовищ, на своем собственном платье, которые встречал его взор, и слышал только засевшие у него в ушах отзвуки демонической музыки его собственной скрипки.

И это состояние туманной экзальтации, полное разнороднейших и мимолетных ощущений, было сладко и дорого Нелло, и, рядом с братом, который всегда смотрел вниз и вечно ковырял в земле концом палки, он, Нелло, стоял, скрестив руки на груди, прислонившись головой к стене, недвижимый, словно замерший в экстазе, с бледной улыбкой Пьерро на своем белом лице и как будто прося не трогать его—не прерывать сладкой и странной и смеющейся жи его существования в цирке.

Глава XLIII.

— Нет, это не то... постой... погоди... вот так... когда ты дойдешь до этого, я подниму тебя пинком ногою сзади... ты себе представляешь, как это будет эффектно.

Так клоун раздумывал вслух, добываясь оригинальной развязки для нового «номера», в котором он должен был выступить со своим сотрудником.

Произнеся эти слова, говоривший умолк надолго. И он и его товарищ сидели молча, глубоко уйдя в свои мысли, которые они, по-очереди, словно отряхивали с себя, яростно скребя затылки, над пустыми стаканами.

Оба сидели в маленьком кафе, куда сходятся артисты по выходе из цирка—кафе без определенной внешности, с белыми панно на стенах, с тонкими золочеными карнизами, с узкими простеночными зеркалами, какие имеются во всех кафе бульвара Тамплъ. В оконной нише, на столике, стояли закуски, горчицы разных сортов, коробки сардин, небольшой горшечек с страсбургским папшкетом из ближайшей колбасной, разного рода сыры, а на верхней полочке вазы для пунша и гряда лимонов. А внутри, расхаживал взад и вперед маленький будущий метрд'отель, в гранатовом бархатном пиджачке, в огромном переднике, с синим фартучком на животе, с салфеткой, просунутой за завязки передника и ниспадавшей белым полотнищем на его поясницу.

Один за другим, толкая дверь, входили клоуны, в обывательском платье, но не переставляя ног, а как-то особенно скользя ими по полу, причем вся тяжесть туловища переносилась на выставленную вперед ногу; и руки у них болтались как-то особенно, вывернутые ладонями наружу. Нелло замыкал шествие, поднимая ноги до уровня глаз и сбрасывая их вниз повелительным движением правой ладони—шутливым и легким.

Двое из английских клоунов поднялись по маленькой лесенке в бильярдную; двое других, к которым подсели Джанни и Нелло, потребовали домино.

Старый клоун, национальность которого трудно было определить, собрал со столиков все газеты и уселся с ними в уголке, поодаль от других.

Двое англичан начали партию в домино, но ни единого звука не было слышно, кроме раздражающего стука костяшек о мрамор,—ни слова, ни шутки, ни смешка, ничего, что вносило бы жизнь и душу в игру—как будто ее изображали бесстрастные актеры.

Джанни смотрел на кольца дыма, выходившие из его трубки и, ширясь, поднимавшиеся к потолку; Нелло начал было, смеясь, давать советы ближайшему своему соседу, нарочно подводя его под проигрыш, но тот отодвинул его дружественными толчками в бок, посоветовав не мешать чужой игре, и он принялся курить папиросы, просматривая картинки в «Illustration».

За соседними столиками сидела вся знакомая братия: гимнасты, наездники, люди, «работавшие на земле», или «в воздухе», но общего разговора не затевалось, и не было даже отдельных диалогов по уголкам. Все эти люди—гимнасты и, в особенности, клоуны, профессиональные забавники, потешающие публику шутовством своих тел, вне сцены—печальны и угрюмы не менее комических актеров. И даже больше их, ибо все они, будь то англичане или французы, отличаются еще необычайной молчаливостью. Усталость ли после упражнений или необходимость ежедневно рисковать жизнью делает их такими угрюмыми и молчаливыми? Нет, есть, кроме этого, еще причина. В часы отдыха, когда минует лихорадочное возбуждение, в которое их повергает «работа» и начинает работать мысль, ум их поминутно тревожит мысль, что ловкость и сила, которые кормят их, могут внезапно исчезнуть под влиянием болезни, простуды, какого-нибудь расстройства в их телесном механизме. И им становится жутко от этой мысли. И еще не менее часто думают они—иных это даже мучит постоянно, как неотвязная мысль,—что не вечно же будет длиться эта молодость мускулов и нервов, что придет усталость, и, еще задолго до смерти, состарившееся тело откажется служить, перестанет быть годным для целей их профессии. И еще есть среди них, и не мало, так называемого «лома»,—попорченных, таких, которые в своей сценической деятельности пережили два-три падения, после одного из них, может быть, провалились в постели один-

надцать месяцев; и такие люди, хотя бы на вид они были совершенно здоровыми, остаются, по их собственному выражению, «ломом», и теперь уже, для выполнения своих приемов, им приходится делать над собой такие усилия, которые убивают в них жизнерадостность и делают их унылыми.

В эту минуту в кафе вошел новый клоун, приглашенный, в качестве «обезьяны», участвовать в феерии, дающей в одном из бульварных театров. У него был полный карман маленьких, розовых фунтиков, и он раздавал их своим коллегам, с блаженной и горделивой улыбкой, поясняя, что утром он был на крестинах, в роли крестного отца; потом он подсел к Джанни и осведомился:

— Ну-с, как твои дела?

— Да, все то же, — застрял на горизонтальном подвешивании ногами вперед... Это не то, что висеть горизонтально ногами назад... то — плевое дело, шутка... там вашу руку поддерживает валик, образуемый спинными мышцами, ты знаешь их... а когда тело направлено вперед... ничего! прямо таки не на что опереться рукой, кроме пустоты... Да, дорогой мой, я вот уж сколько месяцев бьюсь над этим, и все понапрасну... даже страшно подумать, сколько еще времени надо работать, пока добьешься искомого... И, как это часто бывает в нашем ремесле, приходится бросать начатое из-за того, что оно потребует слишком большой затраты времени... а на публику особенного впечатления не произведет... Ах! придется перейти к чему-нибудь другому.

И Джанни умолк среди общего безмолвия.

Партия в домино была почти доиграна, и высокий костлявый клоун, добросовестно просмотревший все журналы, положил их на стол и сам приник к ним головой, в задумчивой и сосредоточенной позе, за которую товарищи прозвали его «Мыслителем».

Вдруг, вскочив, словно в приливе вдохновения, ничем не вызванного, так как из других клоунов никто не подал голоса, «Мыслитель» медленно выговорил:

— О, жалкие, убогие, трижды убогие, господа, наши европейские цирки! Вы бы посмотрели американские цирки... например, «Плавучий цирк» на Миссисипи, с

амфитеатром, который вмещает десять тысяч человек, с конюшней на сто лошадей, с дортуарами для артистов, служителей, для экипажа... перед которым всегда плывет впереди «Райская птица» — маленький пароходик, везущий передового, на обязанности которого лежит запастись провиантом для лошадей, подготовить высадку, триумфальные арки, за две недели вперед расклеить афиши... А что вы скажете о «Передвижном цирке», «Большой передвижной ярмарке»?.. Об этом цирке с двенадцатью золочеными колесницами, с его храмами, посвященными музам, Юноне и Геркулесу, с его тремя оркестрами и органом, приводимым в действие при помощи пара... да, да, господа, паровым органом! — об этом цирке, который в каждом городе устраивает парад, растягиваясь на протяжении трех километров... причем на колесницах гимнасты-автоматы и живые гимнасты проделывают труднейшие номера... О, жалкие, трижды жалкие, трижды убогие наши европейские цирки! — повторил «Мыслитель», берясь за ручку двери и доканчивая фразу уже на бульваре.

Глава XLIV.

Новый и невиданный «номер», которого тщетно искал Джанни с ранней юности и который должен был поставить имена обоих братьев, в современных летописях Олимпийских игр, наряду с именем Леотара, «короля трапеции», и Леруа, «человека с шаром», все еще не был изобретен, и Джанни работал над ним, напрягая мозг, как математик, решающий задачу, как химик, изобретающий новое красящее вещество, как музыкант, придумывающий мелодию, или механик, пытающийся создать новый механизм из железа, дерева или камня. Как у всех этих людей, сосредоточившихся на единой неотвязной мысли, у него бывали приступы рассеянности, полного самозабвения, когда он переставал воспринимать окружающую действительность, когда на улице, во время прогулки, у него бессознательно вырывались слова, проносимые вслух и заставляющие оборачиваться прохо-

жих и глядеть вслед странному господину, который удаляется, сгорбившись, понурив голову и заложив руки за спину.

Живя исключительно мозгом, он утрачивал представление о времени, способность ощущать холод, тепло и все те мелкие ощущения, которые испытывает тело, чувствительное ко всему внешнему и к перемене среды. Животная жизнь, со всеми ее отправлениями и функциями, казалось, протекала у него машинально, как в заведенном на определенный срок механизме, но без всякого участия его личности. Когда с ним заговаривали, он не сразу внимал в значение слов, как будто они были сказаны шопотом и донеслись до него откуда-то издали, или, вернее, как будто дух его отсутствовал и должен был сначала вернуться в тело, а затем уж осмыслить сказанное и ответить. Иной раз, он по несколько дней подряд пребывал в таком состоянии среди других людей и даже среди своих товарищей:—рассеянный, далекий, ушедший в свои мысли, утонувший в пустоте, с полужакрытыми, мигающими глазами, он порой ощущал в ушах едва уловимый шум моря, который вечно хранят расставленные на комоде большие раковины, привезенные с берегов океана.

Мозг Джанни, непрерывно работавший, направлял свои искания в область того, что считалось невозможным и недостижимым, на поиски «штучки», которая сделала бы это «невозможное» выполнимым, маленького извращения законов природы, которого первым добился бы он, скромный клоун, повергнув всех в недоверчивое изумление и восторг. И честолюбие его было так велико, что он требовал, действительно, невозможного, почти недоступного для человека, презрительно отвергая просто «невыполнимое», мелкое, обыденное, пренебрегая такими упражнениями, в области которых для него, превосходного эквилибриста и гимнаста, предел ловкости и равновесия казался уже достигнутым; и, поглощенный этой работой воображения, он круто и надменно отворачивал свой взор от всего обыкновенного—стульев, трапедий, шаров.

Не раз Джанни казалось, что он уже близок к цели

своих честолюбивых стремлений; не раз ему почти отчетливо рисовалось осуществление идеи, только что зародившейся в его мозгу; не раз он испытывал на краткий момент радость открытия и неразлучное с ней лихорадочное возбуждение;—но при свете трезвой действительности, при первой же попытке осуществить задуманное, оказывался вынужденным отказаться от него, в виду непредвиденного препятствия, трудности, ускользнувшей от него во время пылкого, торопливого и ободряющего зачатия новой идеи,—трудности, которая вдруг сводила весь план на нет и укладывала его в братскую могилу, где покоилось уже столько прекрасных замыслов, таких заманчивых—и мертворожденных.

Еще чаще, пожалуй, после многих, украдкой проделанных опытов, целого ряда внесенных в первоначальный замысел поправок и усовершенствований, обеспечивавших, казалось, успех,—когда Джанни, до тех пор, из своего рода кокетства, державший в секрете открытие, уже готов был доставить себе удовольствие поделить его подробностями с Нелло,—когда, обдумывая последние детали своей комбинации, он, словно автор, заканчивающий пьесу и видящий в мечтах публику будущей премьеры, уже воображал перед собой цирк, переполненный публикой, рукоплещущей его необыкновенному «номеру»... какая-нибудь мелочь, одно из тех бесконечно малых обстоятельств, неведомых песчинок, тормозящая ход новых машин целой фабрики, вынуждала его отказаться от осуществления этой мечты, которую он лелеял неделями и которая, как и прежние, оказывалась всего лишь мечтой и ложью, навеянной обманщицей ночью.

После такого разочарования Джанни на несколько дней впадал в глубокую, смертельную тоску изобретателей, похоронивших открытие, которое они годами любовно вынашивали в душе: и этого горя ему уже не было надобности поверять младшему брату,—Нелло и так догадывался о причине.

Глава XLV.

Братья поселились в улице Акаций, в квартале Терн, на одной из беднейших окраин Парижа, которая незаметно переходит в пригородные поля. Они сняли домик у столяра, бывшего накануне банкротства. Домик состоял из двух этажей; в нижнем помещалась кухня и комната, служившая кладовкой; в верхнем—две спальни и чулан; заодно с домом сдавался еще и большой дощатый сарай; столяру он служил мастерскою, но братья превратили его в гимнастический зал. Двор, отделенный от улицы высоким и редким палисадом, соединявшим оба здания, был общий у братьев с трельяжником, который большею частью работал на открытом воздухе, но чьи магазин и спальни помещались на чердаке сарая. Этот ремесленник, добродушный старик, с серо-зелеными глазами меланхолической жабы, представлявший собою, так сказать, одно туловище без ног, был в своем деле художником, работавшим по образцам восемнадцатого века, воссоздавая с некоторыми изменениями и добавлениями его воздушную архитектуру. Об искусстве этого старого и кривобокого мастера из квартала Терн, по части решеток, могли судить и прохожие, по выставленному по середине двора, в качестве образчика его искусства, чудесному маленькому зеленому храму, с карнизом, с пилястрами, с ажурными капителями—чуду плетения—на фронте которого красовалась надпись:

ЛАМУР, РЕШЕТЧАТЫХ ДЕЛ МАСТЕР В СТАРИННОМ ЖАНРЕ.

Музыкальный павильон, исполненный по прославленным образцам и, главным образом, по модели «Залы прохлад» Малого Трианона. Превосходная трельяжная работа, могущая украсить любой современный парк: продается по сходной цене.

Почва двора была очень неровна, с впадинами и возвышениями, и по уголкам его прятались еще какие-то

крохотные домики, обитаемые людьми со странными занятиями; в глубине, отделенный едва заметною изгородью, целыми днями опустошаемой стадами гусей, помещался скотный двор, и над самым коровником, на окошечке с белыми занавесками, можно было прочесть объявление:

«СДАЕТСЯ КОМНАТА ДЛЯ БОЛЬНОЙ».

Мастер был в восторге, что новые жильцы не чинят ему никаких неприятностей по поводу его храма, занимавшего почти целиком небольшой общий дворик, и жил с клоунами в добром соседстве; а когда наступило лето, разрешил им играть на скрипке в своем павильоне и даже позволил им устроить нечто вроде завесы из зелени, защищавшей их от нескромных взоров прохожих. Он сам сходил к соседу садовнику и подобрал в яме отбросов чудеснейшую коллекцию живучих растений с большими веселыми цветами, злополучных шток-роз, которые ныне в загоне, но которые так красиво перемешиваются с зеленью трельяжей на гуашах прошлого века.

И здесь, летом и осенью, в ясные теплые дни, в этом павильоне, с прозрачными стенами и крышей, в которой, вместе с солнечными лучами, забирались стаи воробьев, за колоннадой, обвитой ползучими розами, желтыми, розовыми, красно-лиловыми, братья играли на скрипке. Но, поистине, они не столько играли, сколько разговаривали при помощи своих инструментов; это была как бы беседа двух человеческих душ. Все беглые, мимолетные, разнообразные впечатления часа, дня и минуты, вызывающие в душе человека чередование света и тени, подобное игре света на волнах, когда солнце то светит, то скрывается за набежавшею тучкой,—все эти впечатления братья рассказывали друг другу звуками. Беседа шла урывками; то одна, то другая скрипка вдруг умолкала; и, то старший грезил ленивыми, будто сонными ритмами; то младший иронизировал, шутил и смеялся в живых, стремительных, скачущих звуках. У того и другого в игре порой скрывалась горечь, изливавшаяся в жалобной протяжной мелодии, смех, вырывавшийся каскадом высоких, звонких

нот, нетерпение, взрывы гнева и нежность, журчавшая, как вода ручейка, бегущего по мшистому ложу, и просто веселая болтовня, со множеством фиоритур.

После такого музыкального диалога в сыновьях Степаниды вдруг просыпалась цыганская виртуозность, и они принимались играть, оба зараз, с таким «брио», и силой, и блеском, что весь воздух двора звенел этой звучной и нервной музыкой, и умолкал молоток трельяжника, и в окошко высывалось, улыбаясь сквозь слезы, исхудалое лицо чахоточной, жившей в комнатке над коровником.

Глава XLVI.

Джанни, то и дело останавливавшийся на набережных перед книжными ларями и нередко, к удивлению своих товарищей, приходивший в цирк с книгой под мышкой, иногда и в музыкальный павильон приносил старую книгу: толстый том *in quarto*, переплетенный в пергамент, с оборванными углами, с гербами, уничтоженными в эпоху революции—том, на рисунках которого рука какого-нибудь шалуна наших дней непочтительно вложила трубки в уста людей шестнадцатого века. Из этой книги, на переплете которой стояло: «Три диалога об искусстве прыгать и вольтижировать, сочиненных Арканджело Туккаро, 1599», Джанни нередко читал вслух брату и о том, что король Карл IX «предавался всякого рода прыжкам и обнаруживал большую к оным склонность и ловкость в них»,—и целые страницы старинной печати о прыгунах—«петавристах», заимствовавших свое греческое название от полу-прыжка, полу-взлета, с которым куры вечером вскакивают на насест своего курятника,—и о «сальтарине» Эмпузе, которая, благодаря своей волшебной ловкости и проворству, умела принимать все виды и все формы,—о «молодой отваге», которой благородное искусство прыганья требует от своих адептов.—и еще целые страницы о прыжках «эферистическом», «орхестическом», и «кубистическом»: этот последний долгое время считался доступным лишь для того, кто решился продать свою душу дьяволу.

Затем, братья совместно принимались изучать фигуры и геометрические линии полета тел в воздухе, и Джанни заставлял Нелло исполнять, в точности по указаниям и концентрическим кругам, нарисованным в книге, и «glissement du demi-col» и «glissement couché» *) и множество архаических трюков: обоим забавляла возможность вернуться к прошлому своей профессии и часок заняться ею в том виде, в каком она осуществлялась двести лет назад.

Глава XLVII.

Братья не только любили друг друга, но и были соединены один с другим таинственными душевными узами, каким-то сцеплением атомов, как близнецы,—даром, что они были разного возраста и диаметрально противоположных характеров. Инстинктивные, первые побуждения у них всегда были совершенно одинаковы. У обоих равно внезапно возникали симпатии и антипатии к одним и тем же людям, и, когда они вместе бывали где-нибудь, уходя, они уносили одинаковые впечатления от тех, кого там видели. Не только люди, но и вещи, привлекающие или отталкивающие нас, неизвестно почему, вне всякой логики, воздействовали на обоих одинаково. Наконец, идеи, эти создания нашего мозга, такие причудливые в своем возникновении, что мы нередко сами дивимся, не понимая, «откуда они взялись»,—идеи, обыкновенно отнюдь не одновременные и не схожие даже в таких супружествах, где муж и жена сердечно любят друг друга,—эти идеи у обоих братьев рождались одновременно и были одинаковы. Нередко братья, после паузы, поворачивались друг к другу, чтобы сказать одно и то же, совершенно не умея объяснить себе этой встречи на равных устах двух фраз, сливавшихся в единую. Как бы пристегнутые таким образом нравственно, братья Бескапе оба испытывали потребность быть вместе и днем, и ночью, грустили, разлучаясь, испытывали каждый в отсутствии другого какое-то странное чувство как бы разрозненно-

*) Скольжение полулежа и лежа.

сти, неполноты бытия. Когда один уходил на несколько часов, а другой оставался дома, ушедший как бы уносил с собой способность оставшегося быть внимательным, сосредоточиваться, и тот до возвращения брата не мог ничем заняться и только курил. Если же ушедший не возвращался во время, оставшийся мгновенно начинал воображать всевозможные несчастья и нелепейшие катастрофы—не попал ли его брат под лошадь, не задавили ли его—и, встревоженный, бегал взад и вперед из комнаты к выходным дверям—посмотреть: не идет ли брат. Поэтому братья и не любили разлучаться, оставляли один другого лишь в исключительных случаях; никогда один не позволял себе удовольствия, которого бы не поделил другой; и за все годы их совместной жизни, один только раз случилось, что они провели целые сутки врозь, вдали друг от друга.

Надо, однако, заметить, что в их тесной дружбе играл видную роль еще более могущественный фактор, чем братская любовь. «Работа» обоих и самое существование их слились воедино безгранично так, что рукоплескания всегда предназначались не кому-нибудь одному, а непременно обоим вместе: для этой четы общими были и порицание и похвала. Так мало-по-малу дошло до того, что обстоятельство, почти единичное в человеческой дружбе—даже самолюбие, гордость, тщеславие—все у них было общее, и, когда это самолюбие тешили или задевали, оба откликались одновременно.

Ежедневно обитатели улицы Акаций, стоя у дверей своих жилищ, провожали сочувственным взором обоих братьев, шедших рядом, причем утром младший брат шел немного позади, а под вечер, в обеденный час—чутьку впереди старшего.

Глава XLVIII.

Одевались оба брата всегда одинаково: маленькая шляпа, великолепно вычищенная, длинный галстук о двух выпущенных концах, заколотый золотою булавкой в виде лошадиной подковы, короткая куртка, вроде огромных жилетов, какие носят конюхи, орехового цве-

та брюки, на которых по середине колена обрисовывалась четырьмя складочками коленная чашка, и сапоги с двойной подошвой, подбитой медными гвоздями. Костюм вроде того, какой носят конюхи «шикарных» миллионеров, вроде Ротшильда, ясно «англизированный», с оттенком особенной корректности, серьезности, тихой важности в осанке и манерах, свойственной, вообще, клоунам в обывательском платье.

Глава XLIX.

Бывали, однако, дни, когда сквозь напускную серьезность Нелло пробивалось дремавшее в нем мальчишество, и корректный джентльмен выкидывал какую-нибудь совершенно неожиданную шалость,—впрочем, с серьезным видом англичанина-мистификатора. Однажды, после представления в цирке, братья, против обыкновения, вернулись домой не пешком, а в Тернском омнибусе. Вам знакомы, конечно, эти омнибусы, отправляющиеся в одиннадцать часов куда-нибудь на окраину города, битком набитые добродушными обывателями, дремлющими в потемках, сквозь которые ежеминутно прорываются вспышки яркого света; у таких людей ощущения туповатые, отяжелевшие, порою, трудное пищеварение и, каждый раз, как кто-нибудь из пассажиров выходит, они вздрагивают от сотрясения экипажа, в своей полудремоте, и не могут ни уснуть, как следует, ни совсем проснуться. И вот, эти то добродушные обыватели смутно различали рядом с собою, в продолжение всего пути, двух пассажиров, отлично одетых, с превосходными манерами, с величайшей изысканностью вручивших кондуктору свои шесть су; и вдруг, на углу улицы Акаций, полу-очнувшись от резкого толчка при внезапной остановке омнибуса, они увидели... и, от того, что они увидели, все двенадцать носов, оставшихся в омнибусе пассажиров, внезапно озаренных фантастическим светом двух фонарей, разом, как один, вытянулись в сторону улицы Акаций, куда, в полутьме, спиною к ним, невозмутимо удалялась высокая человеческая фигура.

Нелло, ступив на подножку омнибуса, соскочил не

просто, а описал «сальтомортале», и затем, как ни в чем не бывало, направился дальше уже на двух ногах и вертикально, как добрый буржуа, предоставив своим спутникам протирать глаза и долго тревожными взглядами вопрошать друг друга, не были ли они все двенадцать жертвою галлюцинации.

Глава L.

— Слушай, старшой,—с ласковой иронией говорил, однажды, брату Нелло,—подбодрись-ка немного, чорт возьми!... Да, да, я, знаю... у тебя было еще одно детище, над которым пришлось спеть *De profundis* *)...

— Ты догадался, что было?

— Еще бы!.. Джанни, голубчик, да ведь ты прозрачен, как стакан воды... разве ты сам не знаешь, как это всегда у тебя происходит?.. Нет? Ну, так я расскажу тебе... Прежде всего, два-три дня... иной раз даже в течение пяти-шести дней... ты отвечаешь мне невпопад: «да» вместо «нет» и обратно... «Ладно», говорю я себе: «опять он что-нибудь изобретает»... затем, в одно прекрасное утро, ты начинаешь строить глазки даже своему завтраку, как будто благодаришь все, что ты ешь, за то, что оно так вкусно... Проходит еще несколько времени... для тебя нет ничего дорогого... все женщины кажутся тебе красавицами... и погода превосходной, даже когда идет дождь... но «да» и «нет» всетаки ты говоришь невпопад... такое состояние у тебя продолжается обыкновенно две-три недели... Затем, вдруг, лицо у тебя становится такое, как сегодня... словно стряслось солнечное затмение... и, когда я вижу тебя таким, я тебе уж ничего не говорю, а про себя думаю: «опять братишка провалился с своим изобретением».

— Ах ты, гадкий насмешник!.. почему же ты сам мне не поможешь... чтобы тебе самому поискать, пораскинуть мозгами, а?

— Ну, нет, благодарю покорно... все, что ты выду-

*) Заупокойная молитва.

маешь, я буду делать, хотя бы рискуя при этом сломать шею... но искать, придумывать—это уже твое дело... я чувствую, что я родился на свет совсем не для того, чтоб утруждать себя... помимо маленьких пустяков, которые я вставляю в наши буффонады, pisco... Я и так доволен нашей жизнью... счастлив вполне и отнюдь не стремлюсь к бессмертию...

— В сущности, ты прав... а я—эгоист... но что ты хочешь: есть в человеке нечто такое, что сильнее его... есть у меня такая муха: я прямо болею этой потребностью выдумать нечто такое, чтобы сделало нас знаменитостями—людьми, о которых все говорят—понимаешь?

— Да будет! — но признаюсь тебе, Джанни: еслиб я не разучился молиться, я бы молился и утром, и вечером, чтобы это случилось, как можно позже.

— Но ведь, еслиб мне удалось, ты бы гордился не меньше меня.

— Гордился бы, конечно... а все-таки, это было бы, может быть, что-нибудь идиотское... и, притом, купленное дороже, чем оно того стоит.

Глава LI.

Братья вели спокойную, несколько однообразную, размеренную, трезвую, почти монашескую жизнь. Они не заводили любовниц и редко пили что-нибудь кроме воды, слегка подкрашенной вином. Наибольшим развлечением для них была по вечерам небольшая прогулка по бульвару, во время которой они переходили от столба к столбу, читая свои собственные имена, напечатанные на афишах. А затем возвращались домой и ложились спать. Их утомительная служба в цирке и, наряду с ней, домашняя работа, необходимость упражняться ежедневно по несколько часов, чтобы сохранить гибкость тела, проворство и ловкость движений, чтобы «работа» не сделалась «жесткой», постоянная забота о том, как бы выдвинуться в своем ремесле и перещеголять других гимнастов, постоянная работа мозга над измышлением чего либо небывалого, — все это смирало в обоих юношах вожделения плоти и отгоняло искушения, томящие дру-

гих—у кого жизнь не так заполнена работой и усталостью, физической и нравственной. Кроме того, они держались итальянской традиции, вложившей двадцать лет тому назад в уста одного из последних атлетов, живших на римской почве, памятную фразу о том, что люди их профессии должны держаться той же гигиены, что и священники, и что силу и гибкость тела полностью можно сохранить только ценою воздержания «от Вакха и Венеры»: традиции, перешедшей к ним по прямой линии от борцов и атлетов древности.

И, если теории и строгие предписания звучали не слишком авторитетно для юного Нелло, более пылкого и более влюбленного в наслаждение, чем его старший брат, зато в память его глубоко врезалось, с тою силой впечатления, какая нам присуща только в раннем детстве, воспоминание о грозном и «непобедимом» Рабастане, положенном на обе лопатки мельником из Брессы. И эта картина, вызывавшая в Нелло почти суеверный страх, вместе с воспоминанием о том жалком состоянии физической и моральной дряблости, в которое впал после своего поражения несчастный геркулес, раза три спасла его от увлечений, когда он уже совсем был готов поддаться им.

Глава LII.

При всей его миловидности и привлекательности, у Нелло была еще защита от соблазнов, которыми неотступно окружены люди по роду своей профессии, выставляющие напоказ свои красивые тела, обтянутые одним только трико—это его дружба с братом. Женщины, вообще, и, в особенности, дамы легкого поведения не любят, когда мужчины очень дружны между собой: они ревнуют, и не без основания, опасаясь как бы другу не перепала значительная доля той привязанности, которая могла бы достаться им. Кроме того, Нелло имел счастливый дар смущать женщин своим выражением лица, в котором сквозила веселая ирония, своей естественно и непринужденно насмешливой улыбкой, и это также отрадало его, отпугивая женщин.

— «У него такая улыбка, как будто он все время издевается над вами»,—говаривала одна из них.

И наконец—это очень трудно объяснимо и, пожалуй, покажется невероятным—но некоторые из подруг его приятелей испытывали как бы некоторую ревность к характеру его красоты, в которой было слишком много женственного—они чувствовали себя словно ограбленными.

Однажды вечером, один из этих приятелей, наездник высшей школы, обладатель дивных бедер, обтянутых лосинами, на миг приближенный к себе очень известною содержанкой, повел Нелло ужинать к своей любовнице. По уходе Нелло, наездник, очень любивший юношу и заметивший, что хозяйка дома за ужином была с ним только холодно любезна, начал восхвалять его на все лады. Но его влюбленная отмалчивалась в ответ, как женщина, которой неприятна тема разговора, вертя в руках, что попадалось, и ища глазами чего-то вдали. Он настаивал; она продолжала молчать.—«Но, ведь, он прямо таки очарователен, этот парнишка?»—выговорил он, наконец, в форме вопроса, и очень подчеркнутого. Женщина попрежнему молчала, болтая маленькой ножкой и блуждая взглядом по комнате, но по лицу ее видно было, что у нее на кончике языка вертится какая-то диковинная мысль, которой она не решается высказать.

— Да скажи же, наконец, чем он так не угодил тебе?—в нетерпении воскликнул друг Нелло.

— У него женский рот,—уронила его возлюбленная.

Глава LIII.

Однако, среди женщин цирка была одна, повидимому, глядевшая на Нелло влюбленными глазами.

Это была американка, наездница, первая женщина, рискнувшая проделать сальтоморtale на лошадиной спине, создательница сенсаций, пленившая своей известностью в Новом Свете золотонискателя, gold-digger'a, которому посчастливилось найти исторический сапородок, кусок золота, толщиной с древесный ствол.

Золотоискатель женился на ней, но наездница, обреченная на вынужденное бездействие, окруженная в своей новой жизни роскошью, степенностью и лицемерием (Kant), далеко не чувствовала себя счастливой; и, когда муж ее, два года спустя после женитьбы, умер, она принялась скитаться по всем циркам Лондона, Парижа, Вены, Берлина, Санкт-Петербурга, бросая их, как только что-нибудь приходилось ей не по вкусу, и не заботясь о размере неустойки.

Обладательница многих миллионов, энергичная и своевольная женщина иной раз позволяла себе прихоти по образцу той милой грешницы, которой захотелось однажды во что бы то ни стало прокатиться летом в саних, вследствие чего она приказала усыпать сахарным песком все аллеи парка: — прихоти, в которых, наряду с деспотизмом, было что-то безрассудное, даже безумное, нарочито нелепое, как бы честолюбивое стремление изведать невозможное, сверхчеловеческое, запрещенное природой и Богом; ей была свойственна прямолинейная настойчивость в осуществлении своих желаний истой американки, не знающей счета деньгам. Так, например, вскоре после своего переселения в Европу, она купила в Вене особняк и поставила у себя в спальне машину, которая изображает грозу. Эта машина с очень сложным механизмом, воспроизводившим, по желанию, то сильный, то слабый ветер, то настоящий ураган, рокот моря и раскаты грома, завывания бури и зигзаги молнии и бичующий свист проливного дождя, обошлась ей больше 300.000 франков.

Но Томпкинс скоро надоело вести дом на широкую ногу, наскучило чувствовать себя одинокой в этом огромной дворце, где она жила одна, и теперь, прибыв в Париж, она, — сдав в мебельный склад свою машину для производства грозы, — жила просто-напросто в номере Гранд-Отеля, платя еще за два номера — в верхнем и нижнем этаже, ради разрешения повесить у себя на потолке трапецию, на которой ее нередко по утрам и заставляла горничная голой и с папироской в зубах.

Впрочем, помимо этих разорительных причуд, кото-

рые она скрывала от посторонних, Томпкинс вела жизнь, с виду самую простую и обыденную. Обедала она за табль-д'отом в той же гостинице, или каком-нибудь второразрядном ресторанчике, поближе к цирку. Носила всегда одну и ту же шляпу в стиле Рубенса и шерстяные платья покроя, похожего на амазонку, нимало не увлекалась парижскими туалетами, не заказывала себе платьев у модных портних, не покупала кружев и драгоценностей. Брильянты, впрочем, у нее были: только пара серег, но зато величиною с пробку от графина. И когда люди, не считавшие их поддельными, говорили ей, что это должно стоить очень дорого, она небрежно отвечала: «мой иметь на уши 111 франков рента на день».

Она никого не принимала у себя, и сама нигде не бывала, даже у своих соотечественников, не разговаривала даже с своими сослуживцами в цирке, никогда не показывалась ни на актерских балах, ни на ужинах в Кафе-Антле, всегда и всюду появлялась одна, без кавалера, и никогда ее не видели под руку с мужчиной. Только рано утром, когда она каталась верхом в Булонском лесу, ее сопровождал герцог Олаус. Этот высокий, красивый мужчина, которого знал весь Париж, родовитый аристократ-северянин, насчитывавший в числе своих близких родственниц одну королеву и одну царствующую императрицу, был истинным вельможей-чудаком. Его страстью были лошади; одно время он в собственном своем дворце устроил цирк и долгое время заставлял свою жену, дочерей, слуг,—всех, заниматься вольтижировкой: это у него было наследственное—от бабушки-наездницы. Герцог питал к Томпкинс нежное и сложное чувство, в котором смешивались, разжигая одно другое, увлечение женщиной и страсть к лошадям. Но этой ролью кавалера наездницы и, иногда, ее поверенного в делах, ему приходилось довольствоваться: Томпкинс объявила ему напрямик, что она его может выносить только на лошади, что, помимо этого, он «глупый», и что она любит быть всегда одна, «со своими голубыми чертами».

И, действительно, этой утренней прогулкой и огра-

ничивалась близость между герцогом и чудачкой-наездницей. И сколько ни копались в ее прошлом любопытные репортеры, ни в Европе, ни в Америке, они не в состоянии были открыть ни единого следа скандала, любовной связи, страсти, или хотя бы минутного увлечения.

Для этой женщины вся жизнь сводилась, как будто, к напряженной мускульной работе. Ранним утром—Томпкинс поднималась чуть свет—она упражнялась на трапеции, в ожидании часа, когда привратник отеля откроит входные двери; потом часа два каталась верхом; затем отправлялась на репетицию—репетиции вольтижировки всегда назначались утром. Вернувшись домой, в гостиницу, она завтракала и курила папироски, ежеминутно повисая на поперечной палке трапеции, которая у нее никогда не оставалась недвижимой. Потом снова каталась верхом, по окраинам и пригородам Парижа, перескакивая через все препятствия, попадавшиеся ей по пути. И тем не менее, вечером, это тело, весь день работавшее, обнаруживало необычайную энергию, гибкость, подвижность, лихорадочное возбуждение, словно от нараставшего в нем под'ема глухой ярости, и в то же время безумную неустрашимость. Неутомимая женщина, бросающая вызов опасности, проделывала опаснейшие приемы, подбодряя себя отрывистыми гортанными выкриками, напоминавшими хриплые возгласы индейцев-гуронов.

В ее контракте с дирекцией цирка было оговорено, что выступает она только через день и непременно в конце первого отделения,—так, чтобы в половине одиннадцатого вечера она могла быть уже в постели.

В свободные дни, когда наездница была не занята, к концу обеда ее поджидала у дверей гостиницы извозчицья карета, доставлявшая ее в одну из улиц, прилегающих к Елисейским Полям, к большому зданию со стеклянной крышей, на фронтоне которого едва можно было прочесть надпись, полусмытую дождем: Манеж Гошекорн. Как только за углом раздавался стук экипажа, в обветшалом фасаде отворялась узкая дверь, в которой наездница и исчезала.

Томпкинс входила в манеж, черный, безмолвный, пустой, где можно было различить лишь два-три силуэта, с

потайными фонарями, склоненные над глиняными горшками. По середине манежа был разостлан восточный ковер—дивный бархат, на котором блеском инея переливались цветы и персидские письма шестнадцатого века, вытканые по светлой и нежной поверхности, окрашенной всего лишь в три тона: серебряный, золотой с зеленоватым оттенком и голубой, цвета ляпис-лазури. На ковре были навалены грудой подушки. Американка ложилась на ковер, разрывала подушки, подкладывала их себе под спину, под бок, под локти, долго укладывалась, прежде, чем ей удавалось найти наиболее удобную позу, потом лениво и сладострастно вытягивалась всем телом на мягком ложе и закуривала папироску.

Лишь только в темноте, в устах женщины вспыхивала красная точка,—словно по данному сигналу, над глиняными вазами загорались разноцветные бенгальские огни, озаряя залу, обтянутую дивными индийскими тканями; невидимые водометы выбрасывали в воздух струи душистой воды, наполняя весь манеж водяной пылью, которая сквозь огонь казалась радужной, алой и голубоватой; и двое конюхов подводили к хозяйке один—черного коня, в сбруе, изукрашенной мелкими рубинами, другой—белого, в сбруе, на которой, как звездочки, горели мелкие изумруды.

Черный конь, с огненными ноздрями, с шерстью, подобной черному полированному мрамору надгробного памятника, звался «Эребом»; белый, «Снежок», казался маячащим шелком, из которого глядели на вас влажные, живые глаза. Конюхи, держа лошадей под уздцы, несколько раз проводили их мимо лежащей женщины, которую они почти задевали своими копытами.

И, недвижимая, время от времени затягиваясь табачным дымом, в этом манеже, который считался общедоступным и принадлежал только ей, любуясь дивными конями, на которых она никогда не выезжала публично и которых «проваживали» в ночные часы, когда весь Париж уже спит,—Томпкинс испытывала царственно-эгоистическое наслаждение,—одинокое радости тайного обладателя прекрасных и единственных в своем роде вещей, неведомых миру.

Лошади ускоряли шаг; рысь переходила в галоп; конохи заставляли их гарцовать, так что на гладких корпусах играли блики; крупы отливали атласом, изумруды и рубины на сбруе сверкали, как звезды, среди арабских восточных материй, бенгальских огней и радужных переливов неуловимого радужного дождя. От времени до времени наездница подзывала к себе то «Снежка», то «Эреба» и, не двигаясь, поднимая лишь голову, совала лошади в зубы кусочек сахара и целовала ее в ноздри. И продолжала, куря папироски, при этом фантастическом освещении, любоваться огнем и силой и грацией неукротимых коней.

Потом, вдруг, поднималась с ковра, бросала недожуренную папироску...

Мгновенно, бенгальские огни гасли, фонтаны переставали бить, индийские шали тонули во мраке, и волшебный дворец превращался в прежний жалкий манеж Гошекорн.

Четверть часа спустя, женщина в серьгах, стоимших восьмьсот тысяч франков, обладательница «Снежка» и «Эреба», требовала у привратника отеля ключ от своей комнаты и ложилась спать, раздеваясь одна, без помощи горничной.

А на другой день начиналась та же, с виду скромная, жизнь. Только, когда в газетах начинались толки о какой-нибудь картине или вещи художественной работы и непомерной цены, будь она хороша или дурна, очаровательна или посредственна, Томпкинс под'езжала в извозчьем экипаже к дому владельца, доставала из бумажника требуемую сумму и увозила картину или вещь, не называя своего имени. И в ее комнате, где не было никакой мебели, кроме ночного столика, кровати и трапеции, вдоль стен стояли, один на другом, герметически закупоренные белые деревянные ящики, в которых были уложены все покупки наездницы, не удостоивавшей их больше и взглядом.

Был еще один предмет, на который американка тратила деньги, не жалея. В каком бы уголке Евроны ни произошла какая-либо катастрофа, где бы ни подготовлялось руками людей трагическое зрелище, Томпкинс

садила в вагон и мчалась туда, делая в оба конца сотни и тысячи миль: из Парижа в Италию—посмотреть извержение Этны, из Петербурга в Европу—чтобы на один час, на один миг упиться жестокостью лондонского кулачного боя, или смертной казни на площади тюрьмы Рокетт.

Но если американка не жалела никаких денег на удовлетворение своих прихотей, она еще меньше считалась с ними, когда дело шло об устранении хотя бы крохотного пустяка, песчинки, розового лепестка, раздражавшего ее, перечившего ее желаниям, вкусам, причудам. И, негодовала ли она на предмет, или на человека, который раздражал ее, стеснял, наконец, просто не нравился ей, — у нее неизменно вырывалось великолепное словцо—такое характерное для ее национальности, звучавшее всей наглостью, присущей деньгам:—«Моя купить». По-французски она говорила, как негритянка, и учиться находила излишним. На такие расходы богатые люди, обыкновенно, очень скупы, но Томпкинс и в этом была крайне эксцентрична и с необычной щедростью швыряла деньгами даже там, где это казалось совсем непонятным. Так, например, она, не будучи музыкантшей, заплатила очень дорого за рояль, объявление о продаже которого появлялось каждый день в листке «Антракт», и действовало ей на нервы; в другой раз уплатила непомерную сумму за снесение киоска, который ей казался не на месте и некстати—disgracious — в саду ванного заведения, привычной посетительницей которого она была. Наконец,—последнее ее чудачество,—дала тысячу франков содержателю ресторана возле цирка за то, чтоб он рассчитал лакея,—как и чем он ей не угодил, это так и осталось неизвестным—про которого она утверждала, что у него вид «торговца барометрами».

Но лучший пример ее готовности заплатить и крупную сумму, лишь бы только устранить все, что хотя маломальски нарушало ее привычки,—следующая анекдотическая сценка, разыгранная между наездницей и директором цирка. Один из служащих, почувствовав в коридоре запах табаку, толкнул дверь ее уборной и, увидав,

что наездница лежит на полу и курит, довольно бесцеремонно сказал ей, что курить запрещено, и чтоб она потушила свою папиросу.

— А-о!—молвила Томпкинс и, не отвечая, продолжала курить.

Служащий доложил находившемуся по близости директору-распорядителю, и тот, поднявшись самолично в уборную американки, со всей учтивостью, подобающей по отношению к крупной артистке — *great attraction*, делающей прекрасные сборы, в льстивых выражениях стал раз'яснять ей, что в здании цирка много дерева, много горючих матерьялов, легко воспламеняющихся, и что одна папироска может стоить дирекции огромных убытков.

— А сколько деньги весь убыток, мосье? — перебила его наездница.

— На случай пожара, мадам, цирк застрахован в несколько десятков тысяч франков.

— *Very well, very well...* в Париж иметь, не правдаль, касса хран?

— Вы хотите, вероятно, сказать: Касса вкладов и открытых счетов?

— *Oh, yes*, именно... и деньги, сколько весь убыток... завтра класть в касса... тот самый, как ви говорит... ваш покойни... моя продолжайт курить...

У Томпкинс—дивное тело: высокое, стройное, все словно сбитое, упругое, длинные, полные ноги, высокая небольшая грудь, крепкая, как у девочки, круглые руки с ямочками на плечах и на лопатках; кисти рук и ступни немножко велики, но пальцы гибкие, как у статуи Дафны, превращенной в лавровое дерево. И при этом, тело здоровое, с мятежной кровью, быстро бегущей по жилам, полное ликующей жизни, новой породы людей—такое здоровое, что, когда наездница, вся в поту, соскакивала с лошади после «работы», от него исходил запах пшеницы и теплого хлеба.

На этом теле, на гордой шее, сидела красивая голова, с правильными чертами лица, с небольшим носом, прямым и немного коротким, с вздернутой верхней губой, поднимавшейся почти до самого носа, когда Томпкинс

улыбалась, с копной ярко золотистых волос, с серыми глазами, отсвечивавшими сталью, с прозрачно-нежной кожей, под которой порой скользили какие-то свирепые блески, как у разгневанной львицы, придававшие этому лицу дикое животное выражение.

Во взглядах, которые Томпкинс бросала на клоуна, не было ни кокетства, ни нежности; взгляд этот почти сурово покоился на нем, словно исследуя его сложение, с тем же пристальным вниманием, как взор черного евнуха, выбирающего на рынке невольника. И, тем не менее, когда американка бывала в цирке, она все время не сводила глаз с Нелло. А юноша, сам не зная почему, испытывал инстинктивную антипатию к американке, и, в ответ на ее взгляды, пятился от нее на руках, как истый акробат, натягивая ей нос ногами, закинутыми за голову.

Глава LIV.

Однажды утром, под трельяжем музыкального павильона, где летом завтракали братья, Джанни, окончив завтрак и набивая трубку с блаженной медлительностью, сказал Нелло:

— Ну, братишка, есть... найдено... и на этот раз уже без промаха.

— Что найдено?

— Ты же знаешь... наш номер.

— Ах, вот что!.. Ну, это меня не очень радует... тем более, что, насколько я тебя знаю... твоё изобретение даст нам обоим не легкую работу.

— Ну, полно, не будь таким злым... знаешь, что? я думаю снять у соседа его чердак.

Ремесленник незадолго перед тем получил в наследство небольшой хутор и клочек земли в придачу, где то в провинции, и уехал, поручив Джанни продать его павильон, если найдется подходящий покупатель.

— А на что нам его чердак?

— Сейчас скажу... Дело в том, что для этого номера мастерская столяра слишком низка... а тогда мы разберем потолок... и все здание будет наше до самой крыши.

— Но... уж не собираешься ли ты заставить меня прыгнуть без разбега на колокольню св. Иакова?

— Нет, но прыгать придется—и высоко: этак футов на четырнадцать вверх.

— Вверх и, бьюсь об заклад, перпендикулярно... но с тех пор, как стоит свет, это никому еще не удавалось.

— Может быть... в том то и штука... и с трамплином...

— Узнаю тебя! ты ни минуты не дашь пожить спокойно, ни себе, ни мне.

— Послушай, Нелло... ведь не сразу же... не завтра же... и потом, когда человек чего-нибудь захочет... ты разве не помнишь, что говорил отец?—что ты современем будешь прыгать, как...

— Но на этом-то, по крайней мере, ты покончишь?... дашь нам отдых? не будешь больше ломать своей башки, изобретая еще что-нибудь головоломное.

— Ты как думаешь, братик, сейчас мы с тобой как высоко можем прыгать?

— Футов на девять, на десять... и то не уверен.

— Да, значит, надо выиграть еще четыре фута.

— Да ты хоть Расскажи, что ты задумал.

— Скажу... потом... когда ты дойдешь до тринадцати футов... потому что, если ты не добьешься этого, мой номер невозможен, и тогда... если я сейчас тебе все объясню, это покажется тебе слишком трудным... я тебя знаю... ты придешь в отчаяние... будешь уверять, что этого никогда не добьешься...

— Ну, вот! Я так и знал. Одного прыжка тебе недостаточно... бьюсь об заклад: тебе нужен еще и соус... чудеса эквилибристики... что-нибудь головокружительное... на чем можно сломать себе шею...

Но, заметив, что лицо старшего брата стало серьезным и грустным, младший мгновенно оборвал свою тираду и воскликнул:

— Глупый! ведь я же сделаю все, что ты хочешь... ты ведь знаешь... но дай же мне немножко поскулить... это меня ободряет.

Глава LV.

Неделю спустя потолок в сарае был уже разобран и по середине зала поставлен трамплин вышиною в два метра двадцать сантиметров. Напротив него, почти вплотную, между двумя подпорками пятнадцати футов вышины, вбитыми в утрамбованную землю и напоминающими те ступеньки, на которые в садах ставят цветы, поднималась и спускалась подвешенная на крюке подвижная доска, которую можно было поднимать постепенно на один дюйм. А на случай падения под доской была навалена целая гряда сена.

Каждое утро Джанни чуть свет будил Нелло, и оба брата упражнялись в прыгании вверх, на доску, что ни день поднимая ее немного выше,—в первое время, всего лишь на несколько дюймов.

К вечеру оба чувствовали себя совершенно разбитыми, ощущали болезненные точки и в животе, и в груди, и в спине, и цирковой доктор объяснял это Нелло переутомлением мышц, а Нелло полусутоливо, полужалобно поддразнивал Джанни, называя его «невозможным братом» и огорчаясь за свои мускулы; но, тем не менее, продолжал упражняться в прыжках, добиваясь высоты, необходимой для выполнения нового номера, придуманного Джанни.

Глава LVI.

Прыжок, этот мгновенный взлет с земли плотного тела, с мягкой мускулатурой,—тела, в котором нет ничего, кроме грубой материи, ничего, что поддерживало бы его в пустом пространстве—ни газа, облегчающего вес, ни летательного аппарата, как у птиц;—прыжок, достигающий исключительной высоты—близок к чуду. Ибо для того, чтоб человек мог сделать такой прыжок, нужно, чтобы нога его, упирающаяся в землю, и бедро, и самый торс, изогнулись дугой, нужно сокращение всего тела, перенесение вниз центра тяжести, нужно, чтобы члены, вытянувшись, образовали дугу, с концами, сближенными, как сближаются концы лука, когда натягивают тетиву;—

вatem, нужно, чтобы растягивающие мышцы внезапно выпрямились, как выпрямляется стальная пружина, восторжествовав над упорством впившихся в землю пальцев, мгновенно вытянув в одну напряженную прямую линию ноги, бедра, позвоночник, и подбросив всю массу тела вверх, причем руки, вытянутые насколько возможно, с сжатыми кулаками, исполняют, по выражению д-ра Бартец, роль крыльев.

Страшное усилие требовалось от мышц, чтобы подбросить тело, весящее сто тридцать фунтов, на пятнадцать футов вверх, и притом перпендикулярно. И Джанни прилагал все старания, чтоб облегчить задачу. Он заставил Нелло, пока тот избегал по доске трамплина, переиспытать все способы ставить ноги, отыскивая такой, при котором трамплин действовал бы всего сильнее. Он заставил брата старательно изучить соотношение силы и упругости его обеих ног, чтобы тот перед прыжком, опираясь на более сильную — опять-таки ради большей силы толчка. Он приучал его также прыгать, с небольшими гирьками в руках, которые должны были поддерживать и в то же время энергичнее увлекать в высь его тело.

Глава LVII.

В «номере», который предстояло выполнять братьям, Джанни должен был «взять высоту» всего лишь в девять футов. Он достиг этого почти сразу, почти без усилий, и теперь упражнялся, прыгая уже не на доску, а на брус, и приучая себя сохранять на нем равновесие.

Что касается Нелло, то после трехмесячной работы, от которой у него полопались все мелкие вены на ногах, он достиг высоты тринадцати футов, но для полного успеха задуманного необходимо было повысить этот предел еще на фут и несколько дюймов, и этого он добиться не мог, и дальше тринадцати не шел, как ни старался, сколько доброй воли, усилий и упорного труда ни прилагал он, чтоб доставить удовольствие Джанни.

И, волнуясь, нервничая и падая духом, он в ребяческом гневе заявил однажды старшему брату, что тот с ума сошел, окончательно спятил, и ради забавы за-

ставляет его, Нелло, проделывать то, что, как он знает сам, совершенно невозможно.

Старший, хорошо зная натуру младшего, живую и впечатлительную, легко приходившую и в радостное возбуждение; и в отчаяние, не стал спорить с Нелло, сделал вид, что соглашается с ним, и на время даже притворился, будто отказывается от своего замысла.

Глава LVIII.

Гневная досада, выразившаяся на лице Томпкинс, когда Нелло, впервые натянул ей нос ногами, показалась молодому клоуну чрезвычайно забавной, и, так как он оставался еще немного ребенком и, как все дети, любителем дразнить,—из небольшой паузы во время исполнения номера, которая дается наезднице и лошади, чтоб передохнуть—паузы, обыкновенно заполняемой тем, что клоун изображает из себя влюбленного в наездницу—Нелло каждый вечер стал создавать маленькую импровизованную интермедию, почти жестокою. Его восхищение Томпкинс выражалось такими уморительными вывертами шеи; коленопреклоненный, как бы замирая в экстазе, он строил такое бессмысленное лицо; ноги его, изображая любовный пламень, выделяли такие невозможные тремоло, а руки, прижимаемые к сердцу, так неестественно выгибались, что в этой мимике обожания и мольбы становился смешным каждый мускул его тела, и из каждого нерва било горькой пластической буффонадой. Вывернув ногу, он мимически разыгрывал на ней, как будто на гитаре, очаровательнейшую пародию на любовный романс. Он без конца разнообразил свою программу и с каждым днем удлинял ее; порою, когда американка уже вновь пускала лошадь вскачь, он хватался за хвост лошади и волочил за ней по арене, чтобы позлить наездницу, с жестами, которые были сами по себе комическими выходками, и в изгибах его снины была непередаваемая ирония. Это была словно пантомима, исполняемая молодым, красивым, изящным и причудливым Дебюро,—пантомима, в которой не было ничего пошлого, ни даже грубого, но все легко, быстро, набросано мимом.

ходом, как талантливая карикатура, как шутливый набросок карандашом. Эти свойства были поняты и оценены публикой первых рядов галлерей, которая начинала ходить в цирк единственно ради этой гимнастической пародии. Это была поистине сценка из комедии без слов, где юный клоун при помощи рук, спины, ног, так сказать, остроумия всего своего тела, обладающего исключительной физической ловкостью, смеясь отвечал женщине, пылающей к нему любовью—и некоторые из обычных посетителей знали, что это была за женщина,—насмешливым равнодушием, иронически презрительными выходками, забавнейшим пренебрежением.

Нелло не ограничивался этим. Несколько опьяненный успехом своей маленькой злобной потехи, подбодряемый подстрекавшими его товарищами, вадетными надменностью наездницы, он не щадил своей поклонницы, задевая в ней самые чувствительные струны, уязвляя ее в ее женской гордости и женском самолюбии. Тело Томпкинс было красиво, стройно, гибко, но не змеиной гибкостью тела парижанки. У нее был истинно британский, немного тугой позвоночник, который даже и профессиональная школа гимнастики, безжалостно изламывавшая его, не научила грациозно изгибаться. Один скульптор, долго живший в Америке и Англии, рассказывал, что он видал там много изящных и стройных женщин, но ни разу не встречал модели, которая могла бы изогнуть свой стан, как Геба, подающая кубок Юпитеру, или же Киприды, вся выпрямившаяся, с возжами в руках, в своей колеснице, запряженной голубями. Этой легкой натянутости, жесткости движений, Нелло, бесподобно подражая, карикатурно ее преувеличивал и вызывал общий смех, когда он, шаржируя, повторял чопорные поклоны и угловатые жесты американки, раскланивающейся с публикой и посылающей ей воздушные поцелуи.

И чем больше злилась американка, чем яснее становилось для него, что она злится, тем больше наслаждения доставляло Нелло дравнить и мучить ее. Теперь он уже не довольствовался представлениями, но упорно преследовал ее своими насмешками и на репетициях, и в коридорах, ни на минуту не оставляя ее в покое. Как только

американка, в правом коридоре, начинала готовиться к своему номеру, при помощи всевозможных «элеваций», «антраша» и «батманов», Нелло был уж тут, как тут, и Томпкинс видела, как он, напротив, в левом коридоре, вскочив на высокий белый с красным табурет, какие выносят на арену для прыжков через обручи и ленты, копировал ее, на радость всем капельдинерам, уморительно обезьянничая каждое ее движение.

Раза два-три Нелло, во время своих шутовских выходов оказывавшийся иногда довольно близко от наездницы, видел, как рука ее, готовая ударить, сжимала хрустальный набалдашник хлыста, и, как расшалившийся мальчик, ждал грозившего ему удара,—но тотчас же другая рука, схватив хлыст посередине и, медленно пропуская его сквозь сжатые пальцы, опускала его, как согнутую ветку, над самой головой клоуна; раздавался отрывистый и странный окрик: «Ао-о!»... и снова взгляд американки становился пристальным, и лицо ее бесстрастным.

Ибо Томпкинс попрежнему не сводила глаз с Нелло, все время, когда они вместе бывали на арене, но теперь в ее взгляде было озлобление, слегка беспокоившее тех, кто замечал его.

— Да будет тебе—оставь ты ее в покое!—сказал однажды Нелло его товарищ, клоун Тиффани;—на твоём месте, я бы остерегался этой женщины—очень уже у нее злые глаза.

Глава LIX.

В первых своих попытках одолеть новый номер, оба брата пользовались трамплином, из некрашенных сосновых досок, наскоро сколоченных соседом столяром,—обыкновенным незатейливым трамплином, каким пользуются все гимнасты. Джанни, не говоря ни слова Нелло, заказал специалисту другой, из тропического ясеня,—дерева исключительной упругости, которое американцы не даром зовут *lance-wood*. Он самолично наблюдал за его изготовлением. Самое устройство этого трамплина было несколько иное, приближающееся к английской

batode. Он имел около трех метров в длину и пока-
тую поверхность, поднимавшуюся над землею под углом
в сорок градусов, в том месте, с которого прыгающий
должен был прыгнуть в воздух. Самый конец доски, для
того, чтобы придать ему большую эластичность, Джанни
велел подстругать настолько, чтоб он мог поддаваться,
выгибаться под тяжестью, не ломаясь. И, наконец, когда
трамплин был готов, он заменил последнюю деревянную
подпорку стальным бруском, обвернутым ковром, кото-
рый, под ударами ног гимнаста, упруго отбрасывал его,
сообщая необычайную силу прыжку.

И когда новый трамплин доставлен был на дом, стар-
ший брат предложил младшему испробовать его. С пер-
вого же прыжка, к которому Нелло и не приложил осо-
бых стараний, так как не верил в удачу, прибавилось
полфута высоты. А повторив прыжок раз пять-шесть
подряд, Нелло, и не дожидаясь, чтобы старший брат
вновь завед разговор о своей заветной мечте, сам крикнул
ему на лету, что теперь он не сомневается больше, и что
то, чего от него хочет Джанни, на этом трамплине может
быть достигнуто. Несколько дней спустя, Нелло уже пры-
гал вверх на четырнадцать футов. Оставалось нагнать еще
несколько дюймов. Затея Джанни перестала казаться не-
осуществимой, стала возможной и близкой.

Тогда Джанни отправился к директору-распорядите-
лю, объявил ему, что он рассчитывает вскоре закончить
изучение совершенно нового и исключительного по сво-
ей трудности «трюка» и попросил у него месяц отпуска—
для усовершенствования.

О Джанни все знали, что он изобретатель. Все при-
выкли видеть его озабоченным, задумчивым. И уже давно
весь цирк ждал от него «здоровой штуки». И это доверие
товарищей к Джанни разделял сам директор: поэтому он
милостиво отнесся к просьбе Джанни и разрешил ему от-
дыхать, сколько понадобится.

Глава LX.

Однако, на «усовершенствование» времени понадоби-
лось больше, чем рассчитывал Джанни. Целых полтора

месяца оба брата работали, не выходя из своей небольшой гимнастической залы; когда их начинала одолевать усталость, они кидались на сено, которым был устлан пол, разрешая себе поспать часок, и затем начинали снова.

Из удачи, достигнутой в первый раз благодаря счастливой случайности, упорными стараниями и ежедневной практикой, превращенной в почти привычное достижение, им нужно было сделать успех верный, постоянный, обеспеченный, совершенно исключаящий возможность неудачи—и вот эта-то неизменность, постоянство успеха, как ни необходимо оно для того, чтобы «номер» мог быть выполнен публично, нередко убивает его. Далее, когда Нелло достиг, наконец, желанной высоты, Джанни перенес этот прыжок из свободного, открытого пространства в узкий круг, ограниченный двумя веревочными окружностями, изображавшими собою верхний и нижний обод бочки.—Новый труд. Наконец, Нелло прыгал теперь уже не на доску, а на плечи брату, стоявшему на тонком железном пруте, изогнутом полукругом; и страшная трудность сохранения равновесия—одному под толчком, другому, вскакивая на живые мускулы, на шевелящееся тело, требовала бесконечных опытов, попыток и повторений сизнова. И когда Нелло думал, что все уже достигнуто, Джанни придумал увенчать их «трюк» чудом эквилибристики, — рядом сальтомортале, исполняемых одновременно обоими, стоя друг у друга на плечах при самых невероятных точках опоры; и для этого финала им необходимо было добиться такого ансамбля, такого необычайного согласования движений, перед которыми покажется игрой чудо ловкости старого Ориоля, падающего в свои туфли.

А, ведь, кроме того, надо было еще изобрести сценарий, изукрасить свои гимнастические трюки, как всегда, изящной мимической сценкой. И Нелло, наделенный поэтической фантазией и, как всегда, взявший это на себя, придумал для замысла брата премилую рамку, фантастическую и веселую, и музыку, в которой слышались отголоски ураганов и вздохи природы. Но в последний момент, оба брата заметили, что самая рискованность их

трюка перестает бить в глаза при этой красивой постановке. И, с взаимного согласия, решили, на этот раз, быть исключительно гимнастами; а там уж, когда надо будет подновить начинающий приедаться номер, можно будет вставить его и в эту поэтическую рамку.

Глава LXI.

Однажды—это было летом, под вечер—братья бегом выбежали из своей гимнастической залы, жестикулируя, как сумасшедшие, и лица их светились счастьем. На бегу оба вдруг остановились посреди двора, один против другого, и у обоих одновременно вырвалось: «Есть!» Потом оба разбежались по своим комнатам и принялись поспешно одеваться, отрывая пуговицы от сорочек и ломая застёжки ботинок, с той неловкостью пальцев, которая является при сильном волнении, когда человек, одеваясь, не в силах совладать с обычными движениями. Обоих что-то словно гнало из дому; оба испытывали потребность двигаться, дышать свежим воздухом, быть на людях. И, одеваясь, то тот, то другой из братьев, с улыбкой подмигивая другому, певуче протягивал: «Есть!»

По дороге им повстречался извозчий экипаж; они вскочили в него, но извозчик ехал недостаточно быстро, и братьям было не по себе от этого движения, в котором сами они оставались неподвижными. Через десять минут они расплатились с извозчиком и снова пошли пешком.

Шли они быстро, большими шагами, нарочно взяв по середине мостовой, чтобы свободнее было идти, и каждый, случайно взглядывая на другого, дивился, что у него шляпа не на голове, а в руках.

Они пообедали в первом попавшемся кабачке, ели, не разбирая и говоря слуге, явившемуся за заказом: «Дайте нам то, что ест вон тот господин, рядом». И младший брат, в этот вечер, был не разговорчивее старшего.

После обеда они заходили то в одно, то в другое кафе, присаживались, но долго не могли усидеть нигде.

Тогда они стали искать людных мест, где много народу, где постоянно входят и уходят, где и они могли бы непрерывным движением заглушить сжигающую их лихорадку. Заглядывали на публичные балы, в концертные залы, где под ослепительным светом, захваченные общим движением, вовлеченные в круговорот, в котором непрерывно вертелись другие, вокруг эстрады, на которой гремела музыка, и они кружились, ничего не видя и не слыша, не замечая, что сигары, которые они держат во рту, давно потухли, унесясь мыслью далеко от мест и обстановки, от людей и вещей, среди которых они проводили вечер,—и лишь от времени до времени поворачивались друг к другу, без слов говоря один другому: «Есть!» и лица их сияли счастьем.

Глава LXII.

На другой день оба брата возобновили свою дружбу в цирке, где Нелло тотчас же принялся снова дразнить Томпкинса, больше и злее, чем когда-либо, так как мальчишеская радость, кипевшая в его душе, толкала его на всякие проказы. Джанни же, первым делом, отвел в сторону директора и пригласил его зайти взглянуть на новый «номер», найденный им и его братом. Директор, не без нетерпения дожидавшийся, когда, наконец, братья сообщат ему о полной удаче, обещал зайти на другой же день, в десять часов утра, к ним на дом, в Терн.

Действительно, на другой день, в условленный час, директор, заложив руки в карманы брюк, уже стоял перед трамплином небольшого гимнастического зала. И выражение его лица, по мере того, как развивалась «работа» братьев, становилось все сосредоточенней и замкнутей, полным сдержанного, углубленного энтузиазма, как то бывает у любителя, перед редкой и курьезной безделушкой, прикидывающегося холодным, чтобы с него не запросили непомерную цену.

Братья кончили, и Джанни, несколько смущенный молчанием своего единственного зрителя, допытывался: «Ну, что же? Что вы скажете?»

— Здорово!.. Чудесно... прямо таки, превосходно... ; бы предпочел показать это в первый раз в зимнем сезоне... но мы всетаки сможем пустить это до вакаций, до начала охоты... да, я думаю, что это будет крупный успех... но только надо подогреть публику... она, ведь, не сообразит, в чем дело... по внешности, это не бьет в глаза... не производит того впечатления риска, как упражнения на большой высоте. Надо, чтоб у публики дыхание спирало в груди от страха за вас...—директор сдвинул локти, как бы прижимая их к взволнованной груди... надо, чтобы печать разжевала все это, растолковала опасность, смертельный риск, который представляет весь номер... необходимо поднять шум в газетах... ваши первые дебюты прошли немного глухо в этом отношении... Вы побывайте у меня завтра—надо столкнуться относительно аксессуаров и организации рекламы; я займусь этим сегодня же... А теперь отдохните... отдых вам необходим... разрешаю вам не посещать ни представлений, ни репетиций... Если номер удастся и будет иметь успех, я, конечно, согласен несколько изменить условия нашего ангажемента... Но, поймите, необходимо—крайне необходимо поставить его как можно скорее.

И, уже на пороге, несмотря на все старания быть сдержанным в своих похвалах, директор не удержался и крикнул братьям:—«Это удивительно сильная штука»

Глава LXIII.

Последующие дни, вплоть до вечера первого представления, братья прожили в каком-то сладком чаду, а который повергают слабую человеческую душу нечаянные дары, преподносимые нам судьбой, неожиданно благоприятные повороты колеса фортуны, негаданно сбывшиеся мечты. У обоих горела голова, они ощущали какую-то блаженную внутреннюю пустоту. Волнующая, сдерживаемая радость, точно горе, лишала их аппетита. Они ходили по мостовой, а им казалось, что они ступают по мягким коврам. И каждое утро, про-

сыпаясь, одолеваемые сомнениями, оба не смели при свете дня поверить в свое счастье и тревожно вопрошали себя, не привиделось ли оно им только во сне.

Глава LXIV.

Плотник и слесарь только что ушли, получив инструкции Джанни касательно некоторых приспособлений, необходимых для того, чтобы «номер», изобретенный братьями, мог быть выполнен в цирке; уходя, уже в дверях, они еще раз обещали братьям, что через пять дней все будет готово.

— Ну-с, видели вы театральные газеты?—спрашивал директор, придвигая к себе газеты, разбросанные на его письменном столе, с подчеркнутыми красным карандашом отдельными строками. — Мы начинаем муссировать ваш номер... Послушайте-ка, что пишут эти господа.

«В мире гимнастики и спорта много толков о новом трюке, совершенно необычайном»... «Нам сообщают, что на-днях нам предстоит увидеть в цирке гимнастический фокус, который профессионалы находят неосуществимым». «Если верить слухам, в близком будущем, в Летнем цирке Париж увидит нечто достойное сравниться с гимнастическими упражнениями Леотара...» «Прыжок невероятной смелости и совершающийся при таких условиях, на какие не дерзала классическая древность...».

— Что? Недурно мы вас рекламируем?.. Любопытство уже возбуждено... теперь надо говорить определеннее... бросить публике кой-какие биографические сведения о вас, подлинные или выдуманные... вы составьте для меня памятку. Видите ли, сперва надо возбудить интерес неизвестностью, а затем удовлетворить его известным... надо ознакомить Париж с вашим прошлым, с вашими лицами, привычками, с историей вашего трюка,—чтобы вы стали для него людьми, которых он знает в лицо по фотографиям... личностями вполне определенными, которым он бы мог подарить свои симпатии... которыми он увлечен заранее... разумеется, теперь нам уже нечего скрывать, что вы братья—

наоборот, необходимо подчеркнуть это... мы, разумеется, ставим в афише: братья Бескапе.

— Нет,—сказал Джанни.

— Как: нет?

— Нет. Бескапе—это наше скоморошье имя... теперь мы переходим на другое положение... и берем себе другое имя.

— Какое же?

— Братья Земганно.

— Земганно... Что-ж, это хорошо... очень оригинально... Это дьявольское З в начале звучит, как фанфара... как наши увертюры, где, вместе с дробью барабанов, звенят колокольчики.

— Да, это наше прежнее имя, под которым мы выступали в Англии.

— Ах, да, правда, я и забыл.

— Там оно имело успех,—продолжал Джанни,—и я решил приберечь его, не пользоваться им до того дня, когда, наконец... и потом, я люблю это имя, сам не знаю, почему или, вернее, знаю...—Последние слова Джанни произнес, как будто, про себя.—В нас есть, ведь, цыганская кровь... я даже не уверен, сам ли я выдумал это имя... мне смутно помнится, будто я часто слышал его из уст нашей матери, когда был еще совсем малюткой...

— Ну, ладно, пускай будет: Земганно.—решил директор.—А сколько времени нужно вам на репетиции в цирке?

— Самое большее: три-четыре дня... чтобы привыкнуть к новому трамплину.

— Отлично! плотник и слесарь просят пять дней... значит, дней через десять можно назначать премьеру... Ну, теперь давайте записывать. Где вы родились, где

.

Глава LXV.

В день первого представления братья пообедали рано—в три часа—и явились в цирк, когда публика только начала собираться.

— Джанни, ты видишь главный под'езд зимнего цирка?—неожиданно обратился Нелло к брату, в конце их долгого безмолвного пути.

— Вижу. А что?

— Помнишь день нашего дебюта... кругом все так темно и пусто, около касс ни души; вон там—старый расхлябанный извозничий экипаж, со спящим кучером на козлах.... что, помнишь? Мы долго стояли, прежде чем войти, и смотрели на все это, и говорили о том, как нам не везет, вообще, в жизни... помнишь две статуи лошадей у двери, их крупы, покрытые снегом, мрачное здание, тонувшее в неприветливом мраке, большие, квадратные окна... а в глубине, за ними, только освещенный красный фон, и на нем две неподвижные шляпы контролеров и кивер муниципального стража, опирающегося на барьер... и мы одни, в пустом вестибюле...

— Ну, так что же?

— Что, если и сегодня в Летнем цирке будет—то же самое?..

Джанни, изумленный, поднял глаза на младшего брата, как бы дивясь, что у него, всегда такого доверчивого, явилась тень сомнения в успехе, но он ничего не ответил, только ускорил шаг и, когда они очутились перед цирком, бросил Нелло:

— Взгляни!..

Глава LXVI.

В этот вечер, в этот дивный вечер, когда братья впервые должны были исполнить изобретенный Джанни «номер», вокруг Летнего цирка царило оживление,—то ли хорадачное оживление, которое всегда сопровождает спектакли, где поставлено на карту будущее, самая жизнь таланта,—представления, на которые парижанин идет в затаенной надежде увидеть, как при нем будут есть человеческое мясо. Собственные выезды, скрипя по мокрому асфальту большой аллеи, ежеминутно выбрасывали на тротуар нарядных женщин. Продавцы программ,

успевшие подвыпить, выкрикивали имена участников спектакля неистовыми голосами; перед всеми кассами стояли бесконечные хвосты и возле целый сонм гибких, тоненьких подростков, будущих гимнастов, втайне практикующихся где-нибудь в заброшенной каменоломне, в окрестностях Парижа, толпился у дверей, ловя каждую новость.

Газовые рожки лили спокойный свет на свежее-отпечатанные красивые желтые афиши, на которых огромными буквами начертано было:

Д е б ю т ы БРАТЬЕВ ЗЕМГАННО.

Внутри цирка, под большим этрусским фризом, с группами античных гимнастов, бегущих вокруг всего зала, под первым плафоном, украшенным трофеями, в виде щитов, пронзенных копьями и увенчанных шишаками, под вторым плафоном, с брошенными на полу-раздвинутые занавеси медальонами, изображающими скачки амазонок на неукротимых конях, ослепительно ярко пылали все люстры, подвешенные посредине арок с тонкими железными устоями, и яркий свет лился из-под сводов, словно в большую воронку на первые места над ложами, выделяя на красном бархате сидений и на белых деревянных спинках черную массу мужчин, среди которых терялись светлые туалеты женщин:—черную массу, из которой грязно-розовыми пятнами выделялись лица. В цирке толпа всегда чернее, чем в других театральных залах. И толпа эта казалась еще более тусклой и мрачной от контраста с выступавшей на этом черном фоне фигурой эквилибриста в серебряной парче, гарцовавшего на верхушке лестницы в сорок футов вышины, и девочки-акробатки, кружившей около трапеции светлое облако своей газовой юбочки; с фигурой наездницы, поставившей ногу на спину атлета, стоящего на двух лошадях, и грациозным движением сильфиды, откинувшейся назад, сверкнув белыми оборками юбки на бесцветном трико, от которого ее тело казалось бледно-розовым, как у статуэток севрского фарфора.

Публика цирка, нагромождение, давка, теснота, человеческий муравейник наверху, и этот свет, в котором

лица будто расплываются, но который с жадностью поглощает черное сукно одежд,—не напоминают ли они вам дивные литографии Гойи, амфитеатры, замершие в созерцании боя быков, такие же человеческие толпы, неясно очерченные, смутные, но напряженные?

Здесь и ожидание иное, чем в других театрах. Здесь оно вдумчивое, серьезное; каждый сосредоточивается, уходит в себя. Во время рискованных упражнений, где сила и ловкость побеждает опасность, несомненно овевая своего рода величием, зрители в цирке переживают частицу того, что испытывали древние римляне во время игр в старом цирке; сердце замирает от волнения, и холодная дрожь заранее пробегает по спине, при виде безумной смелости, страшного риска, которому на ваших глазах подвергаются люди, повисшие в вышине при звуке сурового «Go!», которым один зовет к себе другого через пустое пространство—при этом возгласе: «Сюда», который, быть может, зовет на смерть.

Цирк был полон. На первых скамьях галлерей, по обе стороны входа, теснились высокие сухие старики, с седыми усами и бородками, с коротко подстриженными волосами, зачесанными на большие хрящеватые уши,—с виду отставные кавалерийские офицеры, содержатели манежей. На тех же скамьях опытный глаз сразу различил бы преподавателей гимнастики и артистов, между которыми уселся юный иностранец в каракулевой шапке, ходивший с трудом, опираясь на палку; за этим иностранцем во время представления ухаживали все служащие цирка. Несмотря на вывешенное приглашение занять места в зале, в проходе, ведущем в конюшни, толпился народ, заступая дорогу лошадям и наездникам,—спортсмены и клубные знаменитости,—оспаривая один у другого две маленькие скамеечки, с которых можно, стоя, видеть арену. На одной из этих скамеечек стояла Томпкинс, которая в этот вечер не работала и, повидимому, с любопытством ожидала выхода братьев.

Начало представления прошло при полном равнодушии публики и без всяких инцидентов. Только время от времени, когда кто-нибудь из клоунов, забавно кувыр-

нувшись, падал на землю, раздавался звонкий и радостный детский смех, переходивший в отрывистые выкрики: «О!», похожие на легкую радостную икоту.

Предпоследний «номер» смотрели невнимательно: утомились ждать, скучали, шаркали ногами, шуршали газетами, давно уж прочитанными, аплодировали нехотя, словно милостыню подавали.

Наконец, последняя лошадь исчезла с арены, а, вслед за ней, и наездница, после обычных двух реверансов. Мужчины то и дело вставали, подходили к знакомым, там и сям завязывались оживленные разговоры; двое, сидевшие по обе стороны внутреннего входа, громко переговаривались между собою, и обрывки их разговора долетали до зрителей.

— Четырнадцать футов... я вам говорю: прыжок вверх, на четырнадцать футов... Считайте сами... Прежде всего, пространство между трамплином и бочкой—6 футов; затем, бочка—3 фута; старший брат—по меньшей мере, 5 футов, да нет, он выше... Как вы полагаете: это не составит четырнадцати футов, когда младший прыгнет на плечи старшему?

— Но ведь это же невозможно, совершенно невозможно! Человек в состоянии прыгнуть—ну, самое большее, вдвое выше себя самого, т. е. своего собственного роста—и то только, с трамплином работы гениального столяра, а вы уверяете...

— Ну, положим, в длину бывали и много большие прыжки... возьмите, например, англичанина, перепрыгнувшего в старом Тиволи ров шириною в тридцать футов. Или полковник Аморос...

— В старину атлеты делали прыжки и в сорок семь футов...

— Ну, полноте... опираясь на шест, еще туда-сюда...

— Господа, что вы мне толкуете о ваших прыжках в длину?—ведь здесь прыжок в высоту—это совсем другое.

— Извините, сударь, я читал в одной книге, что клоун Дьюхерст—вы знаете: современник Гримальди—прыгал вверх на двенадцать футов, и при этом сквозь солдатский барабан.

— Совершенно верно, но это был, так сказать, параболический прыжок, по дуге... это мы видим сплошь и рядом... а тут у них прыжок совсем вертикальный... как будто в трубе...

— Наконец, как же не верить. Ведь, они уже проделывали это и проделают снова, при нас... «Антракт» положительно утверждает...

— Может быть, это и удалось... как-нибудь один раз, случайно... но чтобы это можно было делать по желанию... никогда не поверю.

— Но сударь, уверяю же вас: мне сам директор говорил... они сто раз проделывали это и у себя дома, и здесь, и ни единого промаха.

— Откуда они взялись, эти братья?

— Ба! ты разве не заметил их в конюшне?... они здесь уж несколько лет... но в этом мире уж такой обычай... когда эти люди выступают в новой роли, они меняют имя.

— Четырнадцать футов вверх, и притом вертикально—нет, я все-таки не верю. Тем более, что бочка, как мне говорили, не широка, и, когда старший стоит на ней, младшему необходимо очень точно рассчитать полет, чтобы не задеть как-нибудь... иначе, малейший толчек...

— Ах, вы не знаете, ведь, это только одно название, что деревянная бочка, а на самом деле, она полотняная; крепка и устойчива в ней только передняя часть, на которой стоит старший брат.

— Поистине, вы удивительные люди!.. да, ведь, мы каждый день слышим о чем-нибудь, что до тех пор считалось невозможным... Еслиб до Леотара...

— Я совершенно с тобой согласен... но все-таки для младшего... притом же, говорят, это еще не конец—после этого они еще вдвоем проделывают оба разом несколько сальтомортале на краю бочки...

— А знаете, что я вам скажу, господа? Я все-таки не желал бы быть на их месте и рисковать так своими суставами... А вот и они!

Это взволнованное: «А вот и они!» разнеслось по всему цирку, как единый глухой голос, в который слились все шептания полураскрытых от блаженного ожидания ртов.

На арене появился Джанни, а вслед за ним и брат его. Служащие цирка под шумок приготавливали все необходимое, устанавливали трамплин, длиной шагов в двадцать, начинавшийся по середине входного коридора и доходивший до середины арены. Заложив руки за спину, Джанни серьезно и внимательно следил за тем, как они прилаживали одна к другой отдельные деревянные части, пробуя ногою их прочность и правильность установки и от времени до времени бросая младшему брату отрывистые слова, повидимому, чтоб ободрить его. Сам он был невозмутим и на блестящую публику смотрел спокойно и доверчиво. Младший ходил за ним по пятам и явно волновался: это сквозило и в его связанных движениях, и в зыбких жестах—его все время как будто немного знобило, как это бывает, когда нам физически или морально не по себе.

И, тем не менее, Нелло был очарователен. На нем было в этот день трико, словно выложенное мелкими рыбьими чешуйками, по которым, при каждом движении мускулов, словно ртуть перекатывались перламутровые отливы; и все бинокли, направленные на него, любовались стройным переливчатым телом, с мягкими по-женски очертаниями, с округленными руками, на которых не выступали бицепсы, но в которых чувствовалась скрытая сила.

Трамплин был установлен; под влиянием проснувшегося любопытства в зале восстанавливалась тишина; теперь ставили подпорки, футов на шесть выше трамплина, четыре железных шеста, изогнутых в виде латинского S; вбитые в землю, они расходились у основания и сближались верхними концами, соединенными обручем, с несколько выступающими плоскими краями. Джанни, становившийся все задумчивее и серьезнее, по мере приближения решительного момента, рассеянно положив руку на плечо Нелло, продолжал следить за приготовлениями, когда его окликнули из внутреннего коридора. И, почти тотчас же, смущенный общим вниманием, сосредоточен-

ным на нем, как в детстве во время первых своих дебютов в цирке Бескапе, не будучи в состоянии стоять один, без дела, на виду у всех, Нелло вслед за братом, убежал с арены.

И вот, среди всеобщей напряженной тишины, на обруч, венчающий четыре подпорки, была поставлена белая бочка; и тотчас же раздалась музыка, шумная и резкая, как всегда в цирках, где оркестр подхлестывает энергию гимнастов, подбадривает их в головоломных и героических дерзаниях.

При звуках увертюры, Джанни, только что хотевший взойти на трамплин, чтобы в последний раз убедиться, все ли в порядке, быстро отскочил назад; музыка вдруг смолкла, и среди мертвой тишины—зрители от волнения, как будто даже дышать перестали—явственно слышен был мощный бег гимнаста по упругим доскам; буквально в тот же момент—он уже стоял на бочке, упираясь ногами в края, в позе спокойного равновесия.

Под звуки оркестра, вновь заигравшего, приветствуя успех гимнаста, и под гром восторженных аплодисментов, зрители видели, не понимая в чем дело, как Джанни с удивленным лицом нагнулся к бочке и быстро отвел руку назад, как бы желая остановить прыжок младшего брата, который уже стоял на трамплине, готовый к взлету: с поднятыми руками и кистями, словно бьющий крыльями. Но музыка уже снова смолкла, внезапно паузы вызвав стеснение в груди зрителей; Нелло уже послал с трамплина старшему брату свой последний окрик и Джанни, выпрямившись, бросил брату через плечо «Go!», но тревожное, неуверенное, отчаянное, в котором звучало: «Авось Бог помилует!»—словно одно из тех смертельных мгновений, когда необходимо мгновенно решиться и нет времени осмотреться, сообразить, в чем опасность.

Нелло молнией промчался по трамплину, бесшумно, едва касаясь ногами звонкой доски—причем на груди его сверкнуло что-то блестящее, вроде амулета, выскочившего из-под трико,—щелкнул обеими ногами по упругой оконечности доски и взвился на воздух, как

бы поддерживаемый напряженностью всех этих человеческих лиц, обращенных кверху.

Но что же произошло в этот тревожный миг, когда взоры толпы уже искали, уже видели юного гимнаста на плечах брата?... Джанни, потеряв равновесие, полетел вниз, Нелло же выпал из бочки, сильно ударился о край трапеции, покатился на земь, поднялся и снова упал.

Единодушный, глухой крик пронесся по зале... Джанни, как отец ребенка, поднял на руки брата и унес его с арены. Во взоре Нелло была мучительная тревога раненых, которых уносят с поля битвы и которые взглядом вопрошают каждого встречного—опасна ли их рана и чем она им угрожает.

Глава LXVII.

Сдавленный крик, трепет сердец, взволнованных падением молодого гимнаста, сменился тупым и мрачным изумлением, и в переполненном зале воцарилось безмолвие—то ужасающее безмолвие, которое охватывает толпу вслед за непредвиденной катастрофой, лишь местами прерываемое плачем детей, которых матери слишком сильно прижимали к груди.

Ни один мужчина, ни одна женщина не поднялись со своих мест, как будто представление не закончилось катастрофой, об'ятые жгучей потребностью еще раз лицезреть упавшего, увидеть его на ногах, хотя бы и с посторонней помощью—чтоб убедиться, что он не совсем еще умер.

Служащие цирка, словно солдаты, получившие приказ не трогаться с места, плотной массой загораживали проход за кулисы, упираясь руками в барьер, и ничего нельзя было прочесть на их понурых лицах. По середине арены продолжали стоять неубранные трамплин, подпорки и все аксессуары последнего «номера»; музыканты продолжали держать в руках свои инструменты, затаив дыхание: и странным и трагичным был вид этих застывших лиц, этот внезапный перерыв напряженной и шумной жизни, проникавшей это зрелище силы и ловкости.

Время шло, а публике всё не сообщали вестей о пострадавшем.

Наконец, один из берейторов отделился от группы, выступил вперед, трижды торжественно поклонился публике и громко произнес, отчего из тысячи грудей вырвался тихий вздох облегчения:

— Дирекция спрашивает, не найдется ли случайно хирурга в зале?

Между тем, как соседи вопросительно переглядывались между собою, безнадежно поджимая губы или отрицательно покачивая головами, между скамейками пробирався человек, еще молодой, длинноволосый, с задумчивыми черными глазами, направляясь к внутреннему проходу, чувствуя на себе взгляды всех этих глаз, исполненные жестокого любопытства.

Публика попрежнему не покидала мест, не расходилась, ждала и, казалось, готова была ждать без конца.

Служители, озабоченно перешептываясь между собой, разбирали трамплин, уносили, одну за другою, доски, тушили газ; в зале стало почти темно, но публика все не уходила. Тогда капельдинерши начали выдергивать из-под ног зрительниц маленькие скамеечки, тихонько подталкивая к двери эту толпу, не торопившуюся уходить, все оглядывавшуюся назад, в ту сторону, куда унесли Нелло. Но из недр этой безмолвно расходившейся толпы уже поднимался смутный шопот, тихий, неясный говор, который в тесных проходах, в узких коридорах сгущался в фразу: «у младшего сломаны обе ноги».

Глава LXVIII.

Хирург, стоя одним коленом на земле, нагнулся к Нелло, лежавшему на большом тюфяке, на который прыгала вся труппа во время общей вольтижировки, которою обыкновенно заканчивался спектакль.

Около раненого вертелись служащие, заглядывали в бледное, как смерть, лицо, и исчезали, или же вполголоса разговаривали между собою по углам—о публике, которая упорно не хотела расходиться, о театральном

враче, некстати захворавшем, о подмене холщевой бочки, сквозь которую должен был прыгать Нелло, неведомо откуда взявшейся деревянной; говор перемешался с восклицаниями: «Странно... Удивительно... Совершенно непонятно».

Прошло довольно много времени, когда, наконец, доктор, ощупывавший ногу, на конце которой, вылезшая сквозь прорванное трико, болталась недвижная и вывернутая ступня, поднял голову и посмотрел на стоявшего перед ним директора.

— Да, перелом обеих ног... и на правой, кроме перелома малой берцовой кости, еще и раздроблена голень... Я дам вам записочку в больницу, где я работаю... Кость я хочу вправить сам... так как ноги для этого мальчика—ведь это его хлеб...

— Сударь,—сказал Джанни, стоявший на коленях по другую сторону,—это мой...—это, на самом деле, мой брат, и я достаточно люблю его, чтоб заплатить вам... не хуже какого-нибудь богача... не сразу, конечно...

Хирург с минуту глядел на Джанни своими кроткими и грустными глазами, как бы медленно проникавшими в людей и предметы: столько сдержанной скорби и глубокого отчаяния было в лице этого акробата под его шутовским костюмом из блесток и мишуры...

— Где вы живете?

— Ах, сударь, далеко отсюда.

— Но где—спрашиваю я вас,—почти грубо крикнул доктор.

— Хорошо,—сказал он, когда Джанни дал свой адрес,—мне вечером придется быть неподалеку, в предместье Сент-Онорэ... около полуночи я буду у вас... приготовьте гипс, лубки, бинты, все необходимое... любой аптекарь скажет вам, что нужно... здесь где-нибудь должны быть носилки... это, ведь, тоже принадлежит к числу здешних аксессуаров... на носилках лучше перенести раненого... ему будет не так больно...

Доктор сам помог положить юношу на носилки, с величайшими предосторожностями поддерживая его ногу, сломанную в двух местах, и сам уложил ее поудобнее,

говоря Нелло:—«Дитя мое, потерпите еще часика два, и я к вашим услугам».

Джанни, в радостном волнении, нагнулся, ища руку хирурга, чтобы поцеловать ее.

Глава LXIX.

Ночью, вызывая любопытство прохожих, весь долгий путь от цирка до Терн, Джанни шагал, как автомат, рядом с носилками, на которых лежал его брат. У него был тот вид автомата, из которого вынута душа, что обычно являет на улицах Парижа человек, провожающий носилки в больницу.

Нелло отнесли наверх, в его спальню; Джанни и двое чернорабочих из цирка только что уложили его на постель, как прибыл хирург.

Вправливание было страшно мучительно. Пришлось вытягивать ногу, так как кости зашли одна за другую. Джанни разбудил соседа, и они вдвоем тянули за ногу.

Нелло ни словом, ни звуком не выдал своих страданий; только лицо его мучительно искажалось от боли; он страдал жестоко, но, тем не менее, взгляд его все время силился одобрить и приласкать старшего брата, как бы говорил: «не бойся сделать мне больно».

Наконец, осколки раздробленной голени все заняли надлежащее положение, нога была уложена в лубки, и забинтована; тут только суровый и отнюдь не чувствительный Джанни, до тех пор крепившийся, вдруг ослаб и потерял сознание,—как те военные, свидетели несчетных битв, которые лишаются чувств при виде крови, потерянной их женами во время беременности.

Глава LXX.

Окончив перевязку, хирург ушел; над кроватью приладили ведро, из которого, капля за каплей, падала вода, освежая обе ноги больного. Когда боль несколько утихла, первым словом Нелло было:

— Послушай, Джанни, сколько, он говорит, это протянется?

— Да он ничего не говорил... я не знаю... погоди... помнится, в Мидльсборо, когда этот верзила Адамс... ты помнишь?... сломал себе ногу... он лежал шесть недель.

— Так долго!

— Ну, вот еще, нашел время волноваться...

— У меня сохнет во рту... дай мне пить...

У Нелло начался жар, сжигавший все его тело. Острые боли в местах перелома сменялись другими, менее жгучими, но иной раз столь же невыносимыми спазмами, судорогами во всем теле, от которых сломанные ноги как будто ломались снова; самая неподвижность ступни на подушке с течением времени становилась нестерпимой— больному казалось, что его нервы сверлят буравом, втискивая в них какое-то твердое тело; невыносим был и самый холод в ноге—холод от воды, непрерывно капавшей на гипс. Лихорадка и боли, особенно усиливавшиеся по вечерам, в течение целой недели не давали Нелло ни на минуту уснуть.

Глава LXXI.

Эти мучительные ночи вызвали такое переутомление организма, что Нелло днем спал по несколько часов.

Джанни садился возле него, чтобы сторожить его сон, но вскоре печальная неподвижность ног больного, наряду с беспокойством, не покидавшим его тела, судорогами боли, искажавшими лицо, и жалобными стонами, которых он во сне не мог сдержать, как сдерживал в состоянии бодрствования, его беспокойный мучительный сон, все это становилось для старшего брата живым укором; несколько минут спустя, он вставал и на цыпочках выходил из комнаты, неслышно взяв шляпу и, попросив женщину, присматривавшую за коровами, посидеть около брата во время его отсутствия.

Джанни шел, куда глаза глядят, но неизменно приходил в Булонский лес, до которого было рукой подать от их квартиры; в лесу он, избегая широких веселых аллей, по которым гуляют счастливые, углублялся в безлюдную узенькую аллею.

Здесь, под влиянием ходьбы и возбуждения, горькие

мысли его начинали подавать голос, становились прерывистыми выкриками, в которых изливается рвущееся из груди великое и глубокое горе, которого не с кем разделить.

— Боже мой! как это глупо... и разве нам плохо жилось?... к чему было желать иного?... ну, скажи на милость, на что тебе понадобился непременно такой прыжок, на какой до нас никто не отваживался... ну, вот и добился... добился!.. О, какое несчастье!.. и какая ему была бы от этого польза?... у него, ведь, даже не было этого проклятого честолюбия... заставить говорить о себе... нет, нет!.. и когда дитя отбивалось, ты же приставал к нему: это нужно... и он слушался... и делал... ведь, он и в реку бросился бы, еслиб ты приказал ему... Ах!.. еслиб можно было вернуть то время, когда мы жили в «Маренготте»... пусть бы мы были опять скоморохами... Бог с ней, с этой собачьей жизнью!.. Это я... я один виной несчастью...

И, думая о цветущей молодости брата, о его ленивом беспечном характере, о его готовности жить, как живет, без особых трудов, без усилий, без стремления к славе, Джанни долго корил себя, вспоминая, как он своим примером, своей жаждой известности, своей суровой монашеской жизнью давил, угнетал, не давал распусться полным цветом этой другой юной жизни, которая всегда приносилась в жертву ему... И среди раздумья, из уст Джанни вырывались горькие слова угрызения:

— Да как же ты не предвидел?... ведь это же было ясно, как день... весь риск был на его стороне... Ты то чем рисковал?... пустяками... тогда, как он... ему, ведь, на пять футов выше приходилось прыгать... и притом вверх, как же тебе ни на минуту в голову не пришло, что он мог убиться?... Да, да, это недурно, самому стоять, ничем не рискуя, заложив руки в карманы... Подлость какая!.. Я адски виноват перед ним...

Он быстро шагал по безлюдной аллее, в безмолвном гневe сбивая тростью верхушки высоких трав; и, когда бедные растения печально поникали сломанными головками, это как будто приносило ему облегчение.

Глава LXXII.

Хирург, привязавшийся к обоим братьям и тронутый их взаимной братской любовью, в первую неделю ежедневно навещал их, чтобы переменить, ослабить или подтянуть повязку, и в последний свой визит сказал Джанни:

— В настоящее время, положение всех костей правильное... опухоль исчезла... перелом срастается нормально... вы говорите: по ночам он все не спит? а, ведь, лихорадки больше нет... если хотите, я дам ему что-нибудь снотворное.

И он прописал рецепт.

— Очевидно,—продолжал доктор,—вашего брата мучает необходимость лежать неподвижно... и то, что ему пришлось неожиданно бросить все привычные занятия... он тоскует, грызет себя, бедный мальчик!.. но все же, относительно общего состояния можете быть покойны—ничего тревожного... еще несколько дней, и эта нервность, возбуждение, бессоница исчезнут... вот с ногами—другое дело: с ними придется повозиться.

— Как вы думаете, сударь, долго он еще будет лежать так?

— Я думаю, что костыли ему можно будет дать не раньше, как через два месяца... да, деньков этак через пятьдесят... Впрочем, костыли вы можете заказать и сейчас... он обрадуется им—это его обнадежит, что он все-таки современем будет ходить.

— А когда же?..

— Бедный друг мой, вы, конечно, хотите спросить меня, когда он в состоянии будет заняться опять своим ремеслом... Это трудно сказать... перелом левой ноги — это бы еще ничего; но раздробление правой... это посерьезнее... тут задето сочленение... Да нет, вы не поняли,—поспешил он пояснить, увидя опечаленное лицо Джанни — ходить он будет и без костылей, но... Впрочем, природа делает иной раз чудеса... что? вы хотите еще о чем-нибудь спросить меня?

— Нет.

Глава LXXIII.

Опиум, входивший в состав снотворных, которые на ночь принимал Нелло, наполнял его тревожный сон смутными видениями.

Однажды ночью ему снилось, что он в цирке. Это был цирк и не цирк, как иногда бывает во сне, когда мы узнаем знакомые места, в которых все переменилось и, как будто, ничего не осталось прежнего. Так и тут, цирк был не такой, как всегда, а огромный, необъятный, и зрители, сидевшие по ту сторону арены, сидели как будто за четверть версты от него, так что он видел лишь смутную массу и не различал лиц. Люстр было несчетное множество, и от больших как будто ежеминутно рождались маленькие, и свет от них был странный, вроде того, какой получается от отражения в зеркале свеч; оркестр был огромный, как целый театр, и музыканты бесновались от усердия, но, сколько они ни играли, скрипки их оставались немые, и медные трубы не издавали ни звука. В бесконечном пространстве виднелись только кружащиеся в воздухе детские тела на кончиках ног невидимых мужчин, вскачь несущиеся лошади, с развевающимися по ветру хвостами, на которых сидели наездники, торсы гимнастов, описывающие кривые в воздухе, словно не решаясь упасть, и паря, как невесомые тела. Вдаль уходили глубокие коридоры трапезий, через которые кувыркался акробат, в нескончаемом сальтомортале; целые аллеи несчетных бумажных кругов, сквозь которые пролетали нескончаемой вереницей женщины в газовых юбочках, между тем, как с высот, равных колокольне собора Парижской Богоматери, спускались, подпрыгивая, бесстрастные канатные плясуньи.

Все это сливалось, путалось, ступеньвалось в замирающем свете газа; и мгновенно, из глубины цирка выскакивала на арену тысяча клоунов, одетых в черное, с вышитыми белым шелком скелетами на их балахонах, плотно облегающих тело, с кусками черной бумаги во рту, от чего рты их казались беззубыми. Все они, точно вставленные один в другого, раскачивались на ходу единым общим движением и обходили арену, извиваясь

длинной змеей. Из земли выдвигались колонки, и мгновенно все эти клоуны оказывались уже на колонках, причем каждый сидел на своем столбике, касаясь его лишь конечной точкой ягодич, задрав ноги выше головы и придерживая их руками и между ног, глядя на публику с недвижностью набеленного сфинкса.

Снова становилось светлей на арене, и, вместе с разгоравшимся светом газа, оживали лица зрителей, дотоле призрачные, как у привидений, а черные клоуны куда-то исчезали.

И снова начались прыжки, пляски на канате, полеты, во время которых сверкающие блески бороздили небо, как падающие звезды, и снова метались на арене тела, без костей, каких еще не видывали на свете, каучуковые ноги и руки, которые можно было завязывать бантом, как ленты, великанши, которых можно было сложить и упрятать в маленькую корзиночку—навождение всего невозможного, неосуществимого, что, однако, выполняется человеческим телом. В хаосе сонного видения сливалось и смешивалось то, что видел сам Нелло, с тем, о чем читал ему брат, и больному мерещились индийский факир, каким-то чудом сохраняющий равновесие, сидя в чашечке колоссального и легкого двухсвечного канделябра; современный геркулес, зубами поднимающий за подножку полный пассажирами омнибус; античный акробат, прыгающий на одной ноге по надутому и смазанному жиром козьему меху; танцующий слон, выделяющий всевозможные воздушные пируэты на тонкой железной проволоке.

Снова бледнел свет газа, и вновь появлялись, но лишь на миг, клоуны, сидящие на тонких столбиках.

И опять начинался спектакль. На этот раз при освещении, в котором все предметы, так сказать, теряли цвет и отливали льдистым, кристаллическим блеском фигур и лиц, вырезанных на венецианских зеркалах; все смешалось в одну кучу—женские ноги, мужские бицепсы, детские торсы, лошадиные крупы и слоновые хоботы, тела, нервы и мускулы людей и животных,—все это вращалось,

как бледное солнце фейерверка, все быстрее и быстрее, и от быстроты этого круговращения спящий ощущал усталость и боль во всем теле.

Глава LXXIV.

— Ты страдаешь? Тебе опять было нехорошо ночью?—спрашивал Джанни, входя в комнату брата.

— Нет... — с просонок уверял Нелло, — нет... Но у меня, должно быть, был жестокий жар... мне снились такие нелепые сны...

И Нелло рассказал брату свой сон.

— Да, представь себе... вижу я, будто я сижу на том самом месте, где—помнишь?—я сидел в первый вечер нашего приезда в Париж... налево внизу, около самого выхода... правда, как странно?... Но это еще не все... самое интересное то, что все они, цирковые, уходя за кулисы, смотрели на меня как-то особенно... как, знаешь, бывает во сне... когда человек смотрит на тебя так серьезно, лица разглядеть не можешь, а видишь, что он хочет обидеть тебя... погоди... и каждый из них, проходя мимо, показывал мне какой-то листок—на одну секунду—поднимет и покажет... я наклоняюсь, смотрю, а рассмотреть не могу... но теперь я его ясно вижу... и на этом листке нарисован я сам, в костюме клоуна... и на костылях, которые ты заказал мне вчера.

Нелло вдруг оборвал свой рассказ, и брат его долго и грустно глядел на него, не зная, что ему сказать в утешение.

Глава LXXV.

— Послушайте... как же вы об'ясняете себе подмену холщевой бочки деревянной?—Ведь, у нас в цирке ни одной деревянной бочки не было—откуда же она взялась? Что это за чудо?

Это директор цирка пришел навестить Нелло и, уже уходя, на пороге, предложил этот вопрос старшему брату, вышедшему проводить его.

— Ах, да! Деревянная бочка...—Джанни провел рукой по лбу, как бы припоминая.—Это правда... она у меня из головы вылетела, эта проклятая бочка; я все забыл, с тех пор, как... Но погодите...—почему, в самом деле, она была там? Американка?—ведь, она никогда раньше не бывала в цирке в те вечера, когда сама не участвовала в представлении... я ясно видел ее... она стояла на скамье, во входном коридоре... я, как сейчас, вижу ее лицо, когда я нес брата... она как будто ждала этого... и потом, откуда же взялся в последнюю минуту этот неизвестный, который будто бы принес мне письмо?—я так и не нашел его.

— Значит, вы тоже подозреваете Томпкинс, как Тиффани, как сам я, как все. А ваш брат, как он это себе объясняет?

— О! мой брат! все это произошло так мгновенно... он ничего не помнит, кроме своего падения... он даже не знает, обо что он ударился—о деревянную бочку, или обо что другое... бедный мальчик просто думает, что у него сорвалось, как это бывает с другими... и, вы понимаете, не я, конечно, стану...

— Да, это очень вероятно,—говорил директор, развивая свою мысль и не слушая Джанни,—весьма вероятно... тем более, что этот мерзавец, ставивший бочку... мы так и не знаем, вправду ли он был пьян или притворился... он был принят на службу по рекомендации Томпкинс... я пытался развязать ему язык... невозможно... молчит, как убитый... так я и рассчитал его... но морда у него была препоганая... ах! эта американка очень и очень способна заплатить большие деньги за такую гадость... Словом, дорогой мой, я сделал, что мог, произвожу расследование... вы знаете? она на другой же день уехала из Парижа.

— Оставьте ее, эту злобную гадину... может быть, это и ее рук дело... что бы вы ни предприняли относительно ее, это, ведь, не вернет ног моему брату.

Джанни уныло махнул рукой, как человек, душа которого так полна отчаяния, что в ней уже нет места ненависти.

Глава LXXVI.

Острые боли в сломанных ногах постепенно прекратились; Нелло ощущал теперь в местах перелома лишь неопределенное беспокойство, какое-то раздражающее щекотанье—это срастались вправленные кости. У больного появился аппетит; теперь он крепко спал по ночам, и, вместе с здоровьем, к нему возвращалась веселость—сдержанная, но наполнявшая все тело веселость, напоенная счастьем выздоровления. Хирург снял лубки, наложил на правую ногу крахмальную повязку и назначил больному день, когда он может встать и попытаться ходить по комнате на костылях.

Глава LXXVII.

Настал, наконец, и долго жданный день, когда Нелло разрешено было выйти из своей неподвижности и горизонтального положения, в котором он оставался более двух месяцев; Джанни нашел, что комнатки их слишком малы, на дворе светило солнце, и предложил младшему брату произвести первый опыт ходьбы в музыкальном павильоне, где они, бывало, прошлое лето разыгрывали дуэты на скрипках. Но предварительно Джанни собственноручно вывел его, очистил от травы, от камней, убрал все соринки, которые могли бы подвернуться под ноги Нелло. И только после этого перенес туда брата. И, когда младший попытался ходить, старший шел ва ним, или рядом с ним, шаг за шагом, готовый подхватить его, если у Нелло подкосятся ноги от слабости.

— Однако!—восклидал Нелло, двигаясь на костылях,—я чувствую себя так странно, точно я совсем маленький... ребенок... только учусь ходить... как будто и не умел никогда... А знаешь, Джанни, ведь, и в самом деле, ходить очень трудно... как это глупо!.. прежде мне это казалось так естественно, пока ноги не были сломаны... И потом, ты думаешь, с ними удобно, с этими подпорками?.. вот уж нет... когда я, бывало, пробовал ходить на ходулях... это мне гораздо лучше удавалось... я бы очень

стеснялся, если бы на меня смотрел кто-нибудь посторонний... должно быть, у меня очень нелепый вид... О, о! Ах, чорт!.. можно подумать, что земля не тверда... погоди... сейчас мы это поправим... ничего... Ах, мои бедные ноги—они точно из ваты...

И, вправду, тяжело было смотреть, какого труда, каких усилий стоило этому бедному телу сохранять равновесие, держаться, не падая, на неумелых ногах, отвыкших ходить, как он робел и пугался, как трудно было ему переставлять ноги или, вернее, самую больную, правую ногу, которая всегда заносилась вперед.

Но, тем не менее, Нелло упорно упражнялся в ходьбе, и ноги его, несмотря на шаткость и неуверенность в себе, мало-по-малу, вновь привыкли служить, и эта маленькая победа вызывала радостный блеск в глазах больного и радостный смех на его устах.—Ко мне, Джанни, я падаю!—вскрикивал он вдруг, нарочно—и, когда старший брат, испуганный, поспешно подхватывал его, приблизив тем свое лицо к его губам, Нелло целовал его в щеку, слегка кусая, как расшалившийся щенок.

Вечер прошел весело, среди шуток и смеха разболтавшегося Нелло, который уверял, что через две недели он собственноручно швырнет свои костыли в Сену, с моста Нейльи.

Глава LXXVIII.

Прошло еще несколько таких сеансов ходьбы в музыкальном павильоне, полных отрады настоящего и веры в будущее. Но через неделю Нелло заметил, что ходит он не лучше, чем в первый день. Прошло две недели, а твердости в ногах и уверенности в себе все не было. Порой, он пытался обойтись без костылей, но тотчас же его охватывал испуг, растерянность, как маленьких детей, которые, видя перед собой протянутые руки, идут и вдруг останавливаются, не смея идти дальше, готовые заплакать: и он судорожно хватался за только что брошенные костыли, как утопающий за спасительную доску.

По мере того, как время шло, ежедневные попытки ходить Нелло становились все более серьезными, молчаливыми и печальными.

Глава LXXIX.

Братья кончали обедать, когда младший скавал старшему:

— Джанни, прежде, чем окончится сезон, я хотел бы побывать разочек в цирке.

Джанни, думая о том, сколько огорчения принесет больному этот вечер, ответил:

— Хорошо, если хочешь... только не теперь—через несколько дней.

— Нет, сегодня, сегодня же вечером! Я хочу сегодня— настаивал Нелло тем властным тоном, к которому он прибегал, когда ему хотелось заставить брата сделать что-нибудь, на что тот не решался.

Джанни покорился.

— Ну, чтож, пойдем. Я попрошу коровницу сходить за извозчиком.

Он помог брату одеться, подал ему костыли и не удержался—заметил:

— Ты сегодня и так утомил себя. Лучше бы отложить это до другого дня.

Губы Нелло сложились в гримаску, и насмешливую, и нежную—капризную гримаску ребенка, который просит, чтоб его не бранили.

В карете он был весел, все время болтал и шутил, говорил забавные вещи и вдруг ласково и насмешливо спрашивал брата:—Скажи, тебе очень неприятно видеть меня та к и м?

Под'ехали к цирку. Джанни на руках вынес брата, подал ему костыли, и оба уже направились к входу.

— погоди!—сказал Нелло, вдруг сделавшись серьезным при виде ярко освещенного здания, с пылающими на фронтоне вензелями, откуда доносилась шумная музыка.

— погоди. Вот стулья. Давай присядем.

Был конец октября; день был холодный, дождливый;

дождь шел с утра, и теперь трудно было даже разобрать, идет он или перестал;—в Париже бывают такие осенние дни, когда и небо, и земля, и стены домов как будто растворились в влажности, когда вечером блески газа на мокрых тротуарах напоминают огоньки, отражающиеся в водах реки. В пустынной аллее, где бродили лишь две-три тени, сливавшиеся с расплывчатой далью, ветер подхватывал с земли грязные листья и гнал их на братьев. Круглые тени сидений несчетных железных стульев вокруг напоминали легионы крабов, карабкающихся снизу на страницу, в японских альбомах.

Внезапно изнутри цирка донесся шум рукоплеканий, оглушительных, как всегда, когда аплодирует простонародье, похожих на грохот разбитых тарелок, сброшенных с райка на балкон.

Нелло вздрогнул и посмотрел на свои костыли.

— Послушай, ведь, дождь идет,—сказал Джанни.

— Нет,—рассеянно ответил младший, занятый своей мыслью.

— Братик, что же, долго мы тут будем сидеть? Войдем?—спустя несколько минут опять обратился к нему Джанни.

— Знаешь, что? у меня прошла охота... мне было бы совестно перед другими... кликни извозчика... вернемся домой.

На обратном пути, Джанни не мог добиться от брата ни единого слова.

Глава LXXX.

Бывали дни, когда Нелло овладевало такое уныние, что он совсем не вставал с постели и даже не пытался ходить, говоря, что ему не хочется...

Джанни повез его к доктору, лечившему его. Доктор еще раз заверил Нелло, что современем, даже скоро, он будет ходить без костылей. Но уклончивые ответы врача, звучавшие сомнением, вопросы, которые он задавал сам себе, как это нередко бывает с людьми науки, когда они размышляют вслух, его слова о необходимости укрепить берцово-пяточное сочленение, о том, что и в будущем не

легко будет добиться того, чтобы правая нога свободно гнулась в лодыжке, навели Нелло на тревожную мысль, что прыгать ему уже не придется, так как прыжки, да и многие другие гимнастические упражнения требуют именно гибкости и эластичности нижней части ноги и ступни.

Глава LXXXI.

Мало-по-малу, хоть они и не разговаривали об этом друг с другом, в мозг каждого из братьев внедрялась мысль, что совместная работа, которая была делом и счастьем их жизни, должна прекратиться, что союз дружбы и ловкости, сливший их тела, распадается. Первое время эта мысль мелькала лишь изредка, молнией прорезывала мозг, пугая и волнуя, но тотчас же против нее ополчались все силы любви и надежды, заключенные в их взаимной привязанности, и изгоняли ее; но, постепенно, по мере того, как шли дни, не принося улучшения и перемены, она упрочивалась и переходила в уверенность. Мало-по-малу, неприметно, в мозгу обоих братьев сомнение ткало свою черную ткань, творило злую работу—ту самую, которая совершается у одра умирающего: вначале, ни сам больной, ни тот, кто ходит за ним, не хотят верить, что недуг смертелен, но каждая неделя умножает волнения и тревоги, и, постепенно, то, что они читают на лицах окружающих, что угадывают из недо-молвок врачей, о чем думают в сумерки и в бессонные ночи, все, что тревожит и волнует их, шепча в тихой комнате: Смерть! смерть! смерть!—все это, понемногу, путем жестоких догадок и лишаящих мужества напоминаний, превращает смутные и мимолетные опасения первых дней в безусловную уверенность, у одного,—в том, что он умрет, у другого,—что ему предстоит утрата.

Глава LXXXII.

Нелло лежал на кровати, вытянувшись во всю длину, прикрыв коричневым пледом свои не гнувшиеся ноги, грустный и безмолвный, не отвечая брату, сидевшему возле него.

— Ты еще так молод,—говорил Джанни,—дитя мое, все это поправимо... если даже год, если даже два года нельзя будет работать... ну что ж, мы подождем... у нас еще много времени впереди... еще много лет...

Нелло все не откликался.

Ночь неслышно надвинулась сквозь угасавший день, и в комнате, окутанной грустными сумерками, лишь бледными пятнами выступали лица братьев, руки младшего, скрещенные поверх одеяла, и слабо серебрился его клоунский костюм, висевший на вешалке.

Джанни встал, чтоб зажечь свечу.

— погоди, не зажигай,—попросил Нелло.

Джанни снова присел возле брата и начал убеждать его, стараясь добиться от него слова надежды хотя бы на отдаленное будущее. Но Нелло неожиданно перебил брата:

— Нет, я чувствую, что никогда-никогда больше не в состоянии буду работать... слышишь: никогда больше... И в этом безнадежном: «никогда больше», с каждым разом звучало все больше раздражения, глухого гнева. Он хлопнул себя руками по бедрам с горечью артиста, сознающего, что в нем при жизни убили талант, и воскликнул:

— Я тебе говорю: все кончено: ноги мои к чорту годятся для нашей профессии.

Он повернулся лицом к стене, как будто хотел уснуть так, чтобы брат не мешал ему.

Но вскоре опять раздался его голос, в который, несмотря на все усилия мужской воли как будто просачивались женские слезы.

— А какая блестящая премьера была... цирк битком набит... Ах! столько глаз, и все они смотрели на нас!.. и то, что билось в нашей груди, отчасти передавалось им... а какой хвост у кассы... и на афишах наши имена огромными буквами... ты помнишь, Джанни, когда я был еще маленьким, и ты рассказывал мне... о новом трюке, нами изобретенном... ты думаешь, я тогда ничего не понимал?... нет, я все понимал, и ждал, как ты.. хоть и поддразнивал тебя... так же напряженно ждал, как и ты... и вот, когда

уж дождались... в этот самый момент—для меня все сразу оборвалось... никогда уж я не услышу: браво!..

Он быстро обернулся и схватил брата за руки:—Но ты знай,—в голосе его теперь звучала ласка:—я буду счастлив и теми «браво», которые достанутся тебе—ты это помни.

Нелло не выпускал рук старшего брата и сжимал их, как будто хотел в чем-то признаться ему и не решался.

— Брат!—вырвалось у него, наконец, как вздох:—я только об одном прошу тебя... но ты обещаешь... это, обещаешь мне... что теперь ты будешь работать один... ни с кем другим... это было бы для меня слишком тяжело... ты обещаешь?... поклянись... ни с кем другим, один—да?

— Я?—просто ответил Джанни:—если ты не выздоровеешь окончательно, я не буду работать ни с другим, ни один.

— Нет, это слишком. Так много я от тебя не требую!—воскликнул младший брат, но радость, звучавшая в его голосе, опровергала его уверения.

Глава LXXXIII.

С этого вечера, в разговорах с братом или с товарищами, заходившими иногда навестить его, когда речь шла о гимнастике или о чем-нибудь ином, относившемся к его ремеслу, Нелло никогда не употреблял настоящего времени: «Я это делаю так-то... мои приемы такие-то... я ставлю ногу так-то...», но прибегал к прошедшему времени: «Я делал... мои приемы были... я ставил ногу...». И эта жестокая глагольная форма звучала в его устах холодным признанием смерти клоуна, как бы свидетельством о погребении.

Глава LXXXIV.

Время шло, а Нелло все еще не мог обходиться без костылей. Он стал задумываться, подолгу молчать, погруженный в свои мысли, и в такие минуты в его кротком лице, разучившемся улыбаться, было что-то невыразимо мучительное. Он весь уходил в себя и как будто терялся

в раздумьи; и, когда старший брат о чем-нибудь спрашивал его, он испуганно вскрикивал: «А!» как будто со сна, стряхнув с себя тяжелый кошмар. И на вопросы Джанни он теперь никогда почти не отвечал прямо.

— Почему ты сегодня такой унылый?—допытывался старший.

Младший откликнулся не сразу.

— Почитай мне немножко Арканджело Туккаро,—просил он.

Старший брал книгу, принимался читать и через несколько минут останавливался, видя, что Нелло не слушает, что он опять ушел в свои мысли, такие скорбные, такие мучительные, что от одного вида его Джанни самому хотелось плакать, но расспрашивать он не смел. Все эти дни он неотлучно сидел возле брата, но все же от времени до времени ненадолго покидал его, и Нелло в раскрытое окно своей комнаты, слышал, в течение четверти часа или получаса звон колец трапеции, на которой упражнялся Джанни.

Возвращаясь, Джанни находил брата в каком-то странном состоянии: раздражительным, склонным к противоречию. Однажды, когда Джанни соскочил с трапеции с полного размаха, и она долго еще раскачивалась, звеня кольцами, Нелло, нетерпеливо повернувшись несколько раз на кровати, неожиданно попросил его:

— Поди, останови ее... этот шум... он раздражает меня...

Джанни понял и с этого дня совершенно перестал упражняться.

Глава LXXXV.

Бывали минуты, когда тоска снедала, казалось, и самое сердце Нелло, и Джанни мнилось, что брат уже не любит его, как в былые дни, когда он был совсем здоров. Дружба Нелло была величайшей его отрадой, единым его счастьем на земле, и он чувствовал, что дружба эта уже не прежняя, что она уходит от него. «Нет, я уже не чувствую себя любимым, как прежде»,—повторял себе Джанни и,

как он ни уговаривал себя, он чувствовал себя обделенным, и нравственное состояние его дорогого больного, отнимавшее у него его любовь и ласку, вызывало в нем какую-то гневную боль, которую он мог побороть только движением и работой.

Глава LXXXVI.

Однажды ночью Нелло проснулся.

Спальни братьев были рядом, и дверь, соединявшая их, всегда оставалась на ночь открытой, так что, если один из братьев не спал, он всегда мог слышать дыхание другого. Но на этот раз Нелло ничего не слышал.

Он приподнялся на кровати, насторожился.—Опять ничего. В спальне Джанни только громко на старинный лад тикали большие, отцовские часы.

Охваченный безрассудной тревогой, которая иной раз нападает на человека, когда он неожиданно проснется ночью, он раз и другой позвал:—Джанни!

Ответа не было.

Нелло слез с постели, и, не беря костылей, хватаясь за мебель, кой-как добрался до кровати брата.

Она была пуста, и смятые, скомканные простыни и одеяла говорили о том, что Джанни лежал на ней, потом встал и ушел.—Куда? Это ново, до сих пор брат ничего не скрывал от него... почему он теперь ушел, словно крадучись?..

Его вдруг осенила мысль; он добрался до окна и впился глазами во мрак, в ту сторону, где находился их гимнастический зал, прежняя столярная мастерская.

— Да, там есть свет... слабый, но есть.

Нелло ползком спустился с лестницы, на руках, на коленях и пополз через двор.

Дверь мастерской была полуоткрыта; при свете огарка, прилепленного к полу, Джанни упражнялся на трапеции.

Нелло вполз так неслышно, что брат и не заметил его. И, стоя на коленях, больной следил за старшим братом, летавшим в воздухе с яростной энергией, с быстротой и ловкостью здорового, сильного тела. Он глядел и любо-

вался силой, умением и ловкостью Джанни и говорил себе, что никогда-никогда его старшой не сможет отказаться от акробатических упражнений, от своей работы в цирке... И, при этой мысли, сердце калеки сжалось такой мучительной болью, что он вдруг зарыдал.

Старший, услышав это рыдание, донесшееся до него из темноты, где корчилось на земле что-то мучительно-бесформенное, вдруг сел на трапеции, вперил взор в темноту, соскочил на земь, сильным движением сорвал трапецию и швырнул ее в окно, которое разбилось вдребезги, подбежал к брату, поднял его и прижал к своей груди.

И оба, обнявшись, долго плакали молча.

Потом, старший обвел взглядом все гимнастические снаряды, как бы прощаясь с ними, и в порыве высшего самоотвержения воскликнул:

— Дитя, поцелуй меня... братьев Земганно нет больше на свете... здесь только два скрипача... которые отныне будут играть... сидя на стульях...



ПОСЛЕСЛОВИЕ.

Создавая „Братьев Земганно“, Эдмон де-Гонкур вторично нарушает данный себе зарок. После смерти брата Жюля, изнемогшего от писательского труда, он решил больше не писать. Однако, от осуществления замысла „Девки Элизы“, материал для которой был собран им еще вместе с братом, он отказаться не смог. Из того же пиетета к памяти брата возникла и книга о двух клоунах. Так неотступно было наводнение горестных воспоминаний, что могло быть преодолено лишь усилием творческим. Чтобы изжить эту тоску свою в словах и образах, другой из братьев должен был перенести ее на мир вымышленный. И вот приемом небывалой смелости интимные свойства Гонкуров, писателей-импрессионистов, приписаны акробатам Земганно, перемещены в бесконечно отдаленный круг профессиональных навыков. Благодаря подобной проекции сюжета на новую плоскость, на место писательской кельи становится цирковая арена, муки слова заменены напряжением мышц. Но при всем том такая транспонировка не устраняет тождественности переживаний. Джанни и Нелло остаются двойниками Эдмона и Жюля, а весь роман — иносказательной автобиографией. Так глава 47-ая могла бы — и без всяких оговорок — быть включена в характеристику самих Гонкуров.

Знаменитый „Дневник“ осведомляет нас о последовательных моментах созидания романа. Первая же запись — от декабря 1876 года — зачерчивает схему будущей книги: „Сегодня, когда книга моя о „Девке Элизе“ почти закончена, — нечаянно стал намечаться и обрисовываться в представлении моем роман, которым я надеюсь распроститься с вымыслом. Я хотел бы создать двух клоунов, двух братьев, которые любили бы друг друга, как брат мой и я; у них был бы словно единый позвоночник и они всю жизнь искали бы невозможный трюк, который был бы для них тем, чем является для ученого разрешение на-

учной проблемы. При этом—множество подробностей о детстве младшего из них и братской нежности старшего, к которой примешивается что-то отеческое.

Старший—сила; младший—грация, с чертами натуры по народному поэтической, которая находила бы выход в той фантастике, которую английский клоун привносит в свои фокусы.

В конце концов, трюк, долго неосуществимый из-за технических подробностей, был бы найден. В этот день месть наездницы, чьей любовью пренебрег бы младший из братьев, заставила бы его сорваться. Впрочем женщина появлялась бы лишь мимоходом. Оба брата исповедывали бы некую религию мускулов, ради которой воздерживались бы от женщины и от всего, что может умалить силу."

Таким образом в этом первом наброске предначертана вся композиция романа, намечен оживляющий ее фон личных переживаний. Мы видим, что „уравнение“: писатель—клоун, виртуоз трамплина—и мастер эпитета, позволило романисту включить в характеристику братьев Земганно еще одну черту, чрезвычайно показательную для братьев Гонкур: их женоненавистничество, страх художников перед женщиной, как силой, инстинктивно враждебной искусству, столь четко выраженные в „Шарле Демальи“ и „Манетте Саломон“.

Однако концепция книги остается неосуществленной; „инкубационный“ период продолжается полтора года,—прежде чем роман овладевает писателем. Нужна перемена обстановки, будоражающая впечатлительность, чтобы отвлеченный замысел ожил.

„Я один в вагоне“, — записывает Эдмон де-Л'онкур 29 июля 1878 г. во время поездки в Бар-сюр-Сен. „И вот под тряску поезда, среди надвигающейся мглы, мысль моя обращается к роману о „Двух клоунах“. Вскоре мозг лихорадочно возбуждается, и вот вырисовываются целые сцены. Я нахожу первый эпизод: стоянку цыган среди смутного пейзажа, воду, небо, насаждения которого я возьму на берегу Сены.“ — Отныне писатель не только лишь мыслит роман, но начинает его видеть. Но видит он в общих чертах, так что оттенки и околичности ему приходится подбирать сознательно, черпая из накопленного опыта. Между тем он все еще медлит с написанием книги и нужно дружеское принуждение, чтоб он взялся за перо.

„Я послушался вас“, — пишет он 7 октября того же года Альфонсу Додэ. „Я погружен в двух клоунов и почти закончил одну главу. Вторая манера Гонкуров, бесконечно занятая для меня“. А несколько дней спустя он заносит в дневник:

„Мне кажется, что мой роман о двух клоунах будет сделан хорошо; в настоящее время мозг мой находится в состоянии смутном и текучем, что подходит к этому произведению, слегка выходящему за пределы безусловной реальности“. Он „работает как скотина“, несмотря на болезнь глаз (другое письмо к Додэ), некоторые из глав пишет с портретом Жюль перед собой: на счастье!“ (Дневник). Вскоре „Братья Бендиго“ — первоначальное название книги — закончены, а в апреле роман выходит в свет. Первыми о новом произведении Гонкура узнали русские читатели — из статьи Альфонса Додэ о чтении романа автором, напечатанной в „Новом Времени“.

* * *

„По поводу той действительности, которой я окружил свой вымысел“, — замечает Гонкур в выноске к предисловию, — „считаю долгом высказать свою признательность г.г. Виктору Франкони, Леону Сари и братьям Генлон-Ли. То не только гибкие гимнасты, которым рукоплещет Париж, но еще и люди, рассуждающие о своем искусстве, как ученые и художники“. Пласт реальности, налагаемый на основу интимных воспоминаний, слагается таким образом [из справок у специалистов, из опроса сведущих лиц. Метод, который представляется внешним критику Барбэ д'Оревиля и заслужил от историка литературы Гюстава Лансона, вообще враждебного искусству Гонкуров, название репортажа. Метод во всяком случае вторичный — переработка чужих профессиональных впечатлений. „Хотел вас видеть“, — пишет как-то Гонкур Филиппу Бюрти, — „но пришлось бегать по скоморохам и клоунам.“

Не должен ли был самый сюжет показаться современникам принижением литературы? Отнюдь нет. Теофиль Готье еще за 30—40 лет до „Братьев Земганно“ посвятил цирку некоторые из красноречивейших своих фельетонов в газете „La Presse“. Его статьи о французском клоуне Ориоле, об английских буффонах Лоуренсе и Редеше (а то и об ученых зверях Ван-Амбурга) не менее пылки, чем отзывы о балерине Тальони или актере Фредерике Леметре. Жюль Жанен посвятил книгу „Театру

канатных плясунов", а Шарль Нодье писал для него пантомимы. „Артистичность“ цирка была осознана многими. Предпочтение его высокому театру было излюбленным парадоксом. У неистового католика Барбэ д'Оревилли техническое совершенство акробатских достижений вызывало изумление и зависть. Спустя десять лет после создания „Братьев Земганно“, Оскар Уайльд воздаст—в статье о „Лондонских натурщиках“—хвалу мастерству акробата, а датчанин Герман Банг в своих „Четырех дьяволах“ строит целую повесть на напряженном ритме и картинной симметрии упражнений на трапеции. Словом выбор Гонкуром столь эксцентричного бытового фона оправдан литературным обычаем. Его роман—„апофеоз акробата“ (Уайльд); но не придал ли Теодор де-Банвиль даже поэту образ клоуна, которого трамплин подбрасывает в небеса?

* * *

Эдмон де-Гонкур снабдил книгу предисловием, которому суждено было занять свое место в цикле литературных манифестов натурализма. Конечно, для истории художественных идей—это неоценимые документы. Однако, предисловия Гонкуров не столько комментарии к данным книгам, сколько воззвещения о дальнейших намерениях авторов, своего рода проспекты.

В предисловии к „Актрисе Фостен“ Эдмон даже обращается к читательницам со своего рода анкетой, данные которой част использовать в своем романе „Chérie“ (Милочка). Точно также и предисловие к „Братьям Земганно“ обращено не вспять, а вперед.

„Можно выпускать „Западни“ и „Жермини Ласерте“, и волновать, и будоражить, и захватывать часть публики. Да! но на мой взгляд успехи этих книг не более, как блестящие авангардные схватки; великая же битва, которая обеспечит победу реализма, натурализма, „писанья с натуры“ в литературе, будет дана не на поле, выбранном авторами этих двух романов. В тот день, когда жестокий анализ, который мой друг, г. Зола, и, быть может, я сам, привнесли в изображение низов общества, будет усвоен талантливым писателем и применен к воспроизведению людей светских, среды благовоспитанной и изысканной,—в тот только день классицизм и его хвост будут убиты. Этот реалистический роман изящества мы с братом и питали горделивую надежду написать...

Объяснению этого неосуществленного замысла и отдана большая часть предисловий. Лишь в заключение Гонкур оглядывается на предлагаемую читателю книгу.

„Что до „Братьев Земганно“, романа, который я выпускаю сегодня:—то попытка в области поэтической реальности. Читатели сетуют на жестокие переживания, которые современные писатели приносят им грубой реальностью своею; они и не подозревают, что те, кто производит эту реальность, страдают от нее куда больше их и что иногда они на несколько недель остаются нервно-больными от книги, рожденной в трудах и муках. Так вот, в этом году я пережил один из этих часов жизни, стареющих, болезненных, трусливых перед лицом томительной и мучительной работы над прочими моими книгами,—душевное состояние, когда правда, слишком правдивая, была антипатична и мне самому!— и на этот раз я создал вымысел из грезы, к которой примешано было воспоминание“.

Что означает это признание? Мы уже указывали, что бытовая оболочка романа, его живописное обрамление на этот раз сложились не из вобранных в себя, пережитых, разъятых впечатлений бытия, а заимствованы из вторых рук.

* * *

Выход в свет „Братьев Земганно“ принес Гонкуру лишь привычные разочарования. Стареющий писатель не в силах примириться с упорным непризнанием его вклада критикой.

„На этот раз я было поверил“,—записывает он в дневник 18 мая 1879 года,—что приго а моей книги, самая старость моя обезоруживают критику. Нич ты не бывало: разнос по всей линии. Барбэ д'Ореви́льи, Понмартен и др. объявили, что „Братья Земганно“ прескверная книга.

Ни один из критиков как будто не замечает оригинальной вещи, предпринятой мною в этой книге,—попытки моей взволновать не любовью; а чем-то иным, наконец, внесения в роман интереса иного, чем тот, который служит от начала мира *).

Видно, на меня будут нападать, меня будут отрицать до самого дня моей смерти, а то и несколько лет спустя...

*) Прав ли Гонкур, подавая в отказе от любви, как двигателя действия, познанию своей попытки? Ни „Сезар Биротто“ Бальзака, ни его же „Луи Ламбер“ или „Пински абсолюта“ не имеют предметом любовь.

Если досужая болтовня Понмартена представляется нам сегодня незначашей, отзыв Барбэ д'Оревиля, романиста из школы Бальзака, католического памфлетиста, но и самого замечательного французского критика второй половины века после Сент-Бева и Тэна (или даже рядом с ними)—имеет принципиальное значение, не утраченное и ныне.

Критик—идеалист горько сетует, в статье, вошедшей впоследствии в книгу его „Современный роман“, на предисловие—придаток, в котором Гонкур признает себя зачинателем натуралистической школы, школы „современных византийцев“.

В свое время он хвалил роман Гонкуров „Рене Моперен“ за то, что там талант братьев возоблада над предвзятым методом и социологический этюд обратился в личную драму. „Братьев Земганно“ он упрекает в том, что они поражены „проказой описаний“, что части книги несоразмерны, что развязка ее нарочито тривиальна. В картинах цирковой жизни он видит лишь обработку „вечного фельетона Готье“, упрекает автора в том, что тот не решился вновь привести Нелло-инвалида в цирк, в чем полагал бы завершение замысла.

Вместе с тем в кругу литературных единомышленников Гонкур встретил живейшую поддержку. Альфонс Додэ не ограничился журнальной статьей, но в тот же день в частном письме выразил свое восхищение в форме более непринужденной. Он находит инсценировку рокового трюка драматичной до чрезвычайности.

„Но что чарует меня превыше всего, это течение жизни в катящейся Маринготте, горизонт, то и дело меняющийся при взгляде сквозь оконце, да цыганская песенка, которую скрипят оси ее колес. Это то, что вы так верно называете „цыганским чувством“ и что вы удивительно, как никто, передали“.

Именно страницы этой „чертовски прекрасной книги“, которые так увлекли писателя-южанина, заразив его духом широких просторов, оживив его тягу к беспечной, бродячей жизни,—заслужили осуждение Барбэ д'Оревиля, как нарушающие ком позицию романа, не связанные с его сюжетом, несоразмерные остальному изложению. Эмиль Зола, с которым Эдмон де-Гонкур братается в приведенном нами своем предисловии, ото-звался отдельными статьями *) на предисловие это и на самый роман. В первой он приводит положения Гонкура в связь с

*) Они включены в том „Le roman expérimental“.

„научным методом литературного творчества“, с школой „человеческого документа“. Во второй он взвешивает ту долю воображения, которую Гонкур на этот раз, по собственному признанию, внес в передачу точной действительности. Факты романа правдоподобны, тщательно выверены; но воспринимаются они героями с утонченной чуткостью, которой мог наделить их лишь сам писатель. В этом — „возвышающий обман“ книги, свойство, определяющее „вторую манеру“ Гонкуров.

Приведя в заключение лаконическую записку Виктора Гюго мы исчерпаем важнейшие суждения о „Братьях Земганно“. Она ценна в выразительной своей краткости, хотя дипломы на бессмертие раздавались Джерсейским изгнанником не менее щедро, чем за сто лет до него Фернейским патриархом.

„Я очарован“, пишет он 11 мая 1879 года автору, пославшему ему экземпляр книги. „Волнение мое велико и я благодарен вам за то, что вы дали мне почувствовать доброту человека квозь красоту книги“.

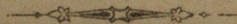
Андрей Левинсон.

Петроград, июль 1919 г.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
Братья Земганно, главы I—LXXXVI	7—156
Послесловие А. Я. Левинсона	157—163



РКУ
б.п.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
ПЕТЕРБУРГ
Проспект 25 октября, 6 Невский, 64.

ЦЕНА 12 РУБ